

Оксана Демченко

# ПЕРЕВЕРНУТАЯ КАРТА ПАЛАЧА



серия

Срединное царство

Книга первая





Оксана Демченко

# **Перевернутая карта палача**

«Издательские решения»

**Демченко О.**

Перевернутая карта палача / О. Демченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-902839-6

Багряного беса многие называли палачом, этот всевластный господин срединного мира не знал равных противников. Но перемены, подобно лавине, из малого камешка вырастают в неукротимое чудовище! Когда одинокая травница выудила из реки корзину — это было совсем маленькое, ничуть не волшебное дело. Но день за днем чудо, созданное равнодушием, вовлекало людей, стирало пыль забвения с древних тайн, меняло мир... чтобы однажды безродный мальчишка встретился лицом к лицу с багряным бесом.

ISBN 978-5-44-902839-6

© Демченко О.  
© Издательские решения

## Содержание

Бес. Город у моря	6
Глава 1. Сумерки накануне весны	10
Бес. Город у реки	16
Глава 2. Золотое лето	21
Бес. Постоялый двор у леса	34
Глава 3. Серебряная весна	37
Конец ознакомительного фрагмента.	63

# Перевернутая карта палача

**Оксана Демченко**

*Иллюстратор* Оксана Борисовна Демченко

*Корректор* Борис Федорович Демченко

© Оксана Демченко, 2018

© Оксана Борисовна Демченко, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-2839-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Бес. Город у моря

Главная площадь Корфа звенела сияющей полуденной тишиной. Общее внимание настоящей, озлобленной толпы было нацелено в спину одиночки, замершего перед статуей основателя города. Еще бы! На медного князя-основателя Корфа, покойного уже две сотни лет, глядит его убийца, живой и поныне – багряный бес Рэкст. Так его звали, не забывая добавлять титул «граф», поклон и помимо воли – порцию страха. Как иначе? Ведь о Рэксте надежно ведомо лишь одно: он не человек, его жизни нет предела, как, пожалуй, и его силе.

Людская масса безмолвно бурлила, готовая вскипеть многоголосыми проклятиями... но бес вроде бы находился на иной площади, где нет острой ненависти, обращенной к нему. Ненависти совершенно бессильной, парализованной.

Страшен Рэкст! Страшен не лицом, а деяниями – явными и тайными. На вид же, если кто-то осмелился бы взглянуть прямо, он обычный человек. Рослый, выглядит лет на тридцать или чуть менее, одет не для боя или праздника – для дороги. Темная рубаха без вышивки, штаны мягкой кожи, изрядно ношенные сапоги... Никаких украшений, из оружия – лишь короткий нож, и тот мирно дремлет при поясе, в ножнах.

Бес подставил лицо солнцу и жмурился сытым зверем.

Бес жевал травинку, лениво созерцая медный лик покойного.

Бес не уделял внимания бледному во всех смыслах подобию памятника – живому потомку основателя города, правящему ныне.

– Скучно, – Рэкст сплюнул травинку и зевнул.

Бес свойски подмигнул медному князю, единственному на площади, кто прямо и гордо глядел на своего убийцу, совсем как при жизни... Рэкст даже слегка поклонился ему – то ли отдавал дань уважения, то ли еще раз отметил свою давнюю победу. Покончив с приветствиями и раздумьями, бес, наконец, развернулся к живому потомку князя, окруженному пышной и бесполезной свитой.

Бес обернулся... и острые копыта людских взглядов вмиг оказались опущены, будто мостовая их притянула.

Темные глаза беса, спрятанные в тени коротких густых ресниц, с презрительным безразличием шурились, пока его взгляд скользил по дорогим одеждам свиты, по гербам... Рыжий, чуть светящийся блеск интереса отметил лишь алых нобов,

стоящих чуть в стороне от князя и свиты. Бес усмехнулся: он, конечно, знал о том, что глашатаи княжества кричали пять дней по всем площадям Корфа о неправде беса и бое чести, что прежде гонцы развезли письма в поместья алых нобов по всему приморскому княжеству Нэйво... И после таких приготовлений лишь двое откликнулись на призыв правителя к голубокровной знати.

Темно-каштановые волосы беса, довольно длинные, достигающие плеч, были распущены. Солнце ложилось на них спокойными золотистыми бликами, четче прорисовывало легкую волнистость – и не более того. Бес прищурился, изучая младшего из бойцов. По смугловатому от летнего загара лицу Рэкста пробежала едва заметная усмешка – как тень ветра по глади морской... пробежала и сгинула.

Ближний к бесу алый ноб, широкоплечий рослый воин, был в лучшем возрасте: неполные тридцать, значит, при нем и богатый опыт, и нерастраченная молодость. Ноб облачился для боя в превосходный доспех, его фамильный клинок сберегали дорогие ножны. У основания клинка блеснул, поймав луч солнца, герб славного и древнего рода.

Ноб уверенно выдержал взгляд беса. Нарочито торжественно извлек оружие, подтверждая вызов на поединок чести.

– Скучно, – скривился Рэкст, будто отведал кислого.

Чуть наклонив голову, он уделил внимание второму бойцу, невысокому, сутулому и почти старому. Этот явился в драной рубаше и застиранных, много раз латанных штанах, годных разве что нищему. Да и стоял криво, опираясь на длинный двуручник, как на палку... На вид старый боец был – насмешка над значимостью поединка чести. Ведь прямо теперь зрело решение: править потомку основателя города или сегодня же уступить власть безродному прихлебателю беса, как того пожелал еще в зиму Рэкст и как передал через своего гонца.

Молчаливая толпа заранее презирала старого бойца, не ожидая от него ни красивой схватки, ни даже смерти, о какой можно сложить легенды...

Волосы беса шевельнулись, будто их тронул неощутимый ветерок, по самым кончикам с треском пробежали багряные искры. Бес обнажил в усмешке клыки... то есть все их увидели, у страха ведь глаза зорки на то, чего нет в яви. Клыки, стоит ли сомневаться, завсегдатаи трактиров еще не один год будут друг другу описывать в подробностях, хотя каждый рассказчик и слушатель знает: внешность Рэкста неотличима от людской, пока он пребывает в покое. А, утратив покой, бес убивает так быстро, что увидеть его в гневе никто не успевает...

Предвкушение боя и азарт игры с князем и его подданными придали волосам Рэкста мрачный блеск багряного огня. Во взгляде внятнее проступила хищная желтизна.

– Какая встреча... Людишки забыли, а вот я помню, кто отстоял порт в споре с южанами. Теперь ты староват, – шепнул бес. Принюхался по-звериному, шумно фыркнул. – Но беда не в возрасте... Ты истинный алый, в сердце твоём ярко горит честь. Ты готов убить неправого любой ценой! Но, одарённый дурак, загляни в душу свою и ответь: есть ли правда в нынешнем поединке? Я говорю о высшей справедливости. И признаю, она дарует алым призрачный шанс на победу, даже когда их противник – я, багряный бес. Но сегодня ты вышел защищать всего лишь потного вора, которого я желаю заменить на другого вора, пока не вспотевшего. Ведь он еще не получил ключ от казны.

Бес запрокинул голову и рассмеялся. Площадь вздохнула разок – и снова принялась синеть от нехватки воздуха и избытка впечатлений: старый боец дрогнул, ссутулился... и поник головой. Полуседые пряди закрыли морщинистое лицо. Обладатель двуручника смотрел на мрамор постамента, по которому уже два века куда-то шагал первый князь. Он, как утверждают летописи, был тот еще непоседа, он, даже медный, не застыл в горделивой позе властителя, а бежал, весь в делах.

– Жаль, ты не родился, когда я убивал его, – кивнув в сторону памятника, промурлыкал бес. – В нем была правда, пусть и негодная мне. Жаль... тогда за его спиной не нашлось ни одного алого твоей силы дара и, – бес кивнул на молодого бойца, – его возраста. Тогда тоже было скучно. Эй, ты решил? Жизнь, отданная за вора – это честь или позор?

Голова нищего ноба дернулась, будто он получил увесистую пощечину. Сивые волосы окончательно спрятали лицо, вмиг сделав воина – стариком. Медленно, ужасающе медленно, пожилой боец кивнул. Слепо развернулся и побрел прочь, спотыкаясь...

И тут, наконец, толпа взорвалась проклятиями, заготовленными для беса и безнаказанно отсылаемыми теперь в спину человека. Откуда-то возникли в единый миг комья грязи и навоза, увесистыми плюхами позора они полетели, пятная и без того убогую одежду ноба, отказавшегося от боя... А бес – хохотал.

Оборвав смех, он резко повернулся к молодому бойцу. Из взгляда ушла желтизна, с волос стекли искры багрянца.

– Служить законному князю – честь, – красивым низким голосом сообщил мужественный защитник города.

– Так начинай уже убивать меня, – посоветовал бес. – Один трёп. Скучно.

Алый ноб воздел меч в приветственном жесте, из высшей точки сразу атаковал, отвлекая обманным движением кинжала...

Вспышка багрянца мелькнула и угасла там, где стоял бес! Фигура Рэкста вроде бы смазлась, и клинок алого, нацеленный врагу в сердце, дернулся, выпал из переломленной руки ноба. Стало понятно: рука эта не просто изуродована, она буквально лишена локтя!

Бес взрыкнул, по-звериному принялся, осмотрел свою окровавленную ладонь... Никто на площади не видел атакующего движения нелюдя. Никто и подумать не мог, что бес голой рукой прорубит доспех и разmozжит локоть противника. Никто пока еще не знал, что бес успел нанести второй удар, по почкам, изуродовав каждый день оставшейся жизни ноба болезненной немочью.

В сокрушительное тишине мгновенный бой иссяк. Бес прищурился, слизнул с ладони несколько капель крови. Просмаковал, сглотнул, облизнулся.

Лишь затем Рэкст перевернул ладонь, подав знак слугам. В руку Рэкста немедленно лег платок, рядом оказался серебряный таз с водой для омовения. Бес как раз вытирал пальцы, когда в толпе надрывно завизжала женщина. Кого-то вырвало. Пошла гулять ветерком разномастная невнятная ругань, первая неосознанная реакция на увиденное...

– Скучно, – бес закинул голову и отослал ввысь тоскливый вой, вмиг заткнувший все людские глотки. – Эй, князь... готовь золото, сам знаешь, во что я оценил твое право извращаться и все же выжить. Гордись, ты не дешевка. Эй, новый вор, потей, уже пора. Когда я вернусь по твою гнилую душу, старик снова откажется от боя... Ах, да, – бес бросил испачканный платок. Он уже шагнул прочь от статуи основателя города, но на миг задержался. – Тут кричали проклятия и бросали камни... Учтите: старик задолжал мне бой и жизнь. Если кто-то хочет взять на себя его долг, то может и изуродовать старика.

Много, очень много камней и комков навоза, еще не брошенных в спину пожилого бойца, оказались поспешно спрятаны или обронены... кто же посмеет записаться в должники к Рэксту?

Само собой, бес знал заранее, как отзовется его слово. Слушая стук камней и стонущие вздохи слабаков, он фыркнул смешком. Зевнул... Прямо теперь Рэкст одержал еще одну победу над людишками. Увял скоротечный интерес, потускнели волосы, потемнел взгляд. Бес опять страдал от худшей из болезней бессмертного – от тоски... Всё кругом слишком привычно. Удручающе обыкновенно. До отвращения предсказуемо.

Мир – убогая лубочная картинка, неизменная век от века. Вот доверенный конюх держит в поводу безупречного скакуна. Вот личная свита подобострастно гнет спины, сияет драгоценностями, потеет и страдает тем же страхом, что вся толпа. Поодаль на камнях корчится молодой ноб. Он жалко, тонко визжит... Он ничтожен, а ведь недавно казался непобедимым. И вон еще один фрагмент лубка: смещённый князь, серый от страха, шупает кружевной ворот, рвет его от шеи – драгоценный, удушающий...

Всё как всегда.

Бес взлетел в седло, не опираясь на стремя и не уделяя ни крохи внимания городу, который он уже мысленно покинул. Рэкст ладонью легонько хлопнул по конской шее, не трогая повод – и рыжий в багрянец скакун пошёл боком, пританцовывая, оттирая свиту. Плотная масса всадников свиты шарахнулась, сминая толпу... Площадь наполнилась гомоном, жалобами, истошными воплями. Эхо подхватило и преумножило панику.

– Вы непобедимы, – прошелестел с благоговением ближний из свиты беса, кланяясь ему. – Вы подарили врагу жизнь. Какое великодушие!

– Кто гадит кровью, быстро усваивает: выжить в подставном бою – отнюдь не благо, – бес скривился в подобии улыбки. – Заносчивых надо учить. И, если не я, то кто?

– Воистину... ух-аа...

Говорливый ближний беса начал было похвалу – и согнулся, мешком сполз из седла. Снова люди не разглядели удара.

– Постоянно учить, – вздохнул бес. – Ох, и морока с вами, людишки.



Бес покинул площадь, не оборачиваясь. Он и так знал совершенно всё. Даже то, что его усердный ставленник, получивший в полную власть земли Нэйво, сейчас рвет удавку воротника тем же в точности жестом, что и опальный князь... И что молодого ноба-бойца эти двое оплатили вскладчину. И что именно полумертвый льстец из свиты, тот, что пытался придержать хозяину-бесу стремя, переслал в Корф весточку: «У Рэкста нет свободного указа на умерщвление людей, а без такого он не убьет, если сам не оказался в бою под прямой угрозой гибели».

Людская жадность – тот еще гарнир к людской наглости, – полагал бес. Предают даже его! Предают всех, всегда. Однажды пожилой боец поймет это. И тогда он по-настоящему проиграет схватку, не состоявшуюся сегодня. Сильных убивает не оружие – их давит природа людишек, не достойных ни защиты, ни уважения...

– Хочу заполучить старого, – облизнулся Рэкст. Поморщился и нехотя добавил: – Еще не время. Пусть сам дозреет. Все дозревают. Хочу, чтобы однажды он оказал мне услугу. По доброй воле. Эй, проверьте, есть ли у старого семья.

– Устранить? – деловито прошелестел новый ближний. Он с наслаждением пронаблюдал падение и увечье своего предшественника и немедленно занял его место. И сам стал ближним, и уже учился свысока глядеть на прочих, уже торопил коня, чтобы ехать по правую руку от беса. Еще бы, он донес Рэксту на предателя – и награждён!

– Тупость людская... как же скучно, – Рэкст отрицательно мотнул головой. – Не устранить, а изучить и доложить. Если у него есть наследник, глянуть, что ценит выше – честь или золото. Если есть жена, проверить, насколько устала от безденежья и тяжелой работы. Если... почему надо объяснять в мелочах даже тебе, скользкому более слизня? Людишки... хуже кроликов. Вечно путаете цель и средства. Насилие – средство. Не единственное. Не первое в списке.

– Не первое, – забормотал «слизень», добыв из кармана сшивку листов и быстро царапая грифелем. – Осмелюсь спросить, а...

– А потому, что я всё уладил малой кровью, – зевнул бес, – уже завтра толпа назначит князя виновным в бедах города. Причиной же нынешнего позора людишек объявит старика, его ославит трусом и продажной шкурой... Слух о настоящих размерах княжеского воровства запущен?

– Да. Надежные люди работают.

– Значит, через пять дней я стану спасителем очередной никчемной страны, – усмехнулся бес. – Как же скучно... Если вернусь в ближайшие пять лет и удавлю еще одного вора, мне поставят памятник. Да: пусть присмотрят за старым. Как бы его не пришибли сгоряча. И слухи о нем... поумерь их тон.

– А зачем вам... – пискнул «слизень» и придержал коня, клонясь к гриве при звуке раздраженного рычания беса.

– С ним играть не так скучно, как с вами, слизнями! А играть надо, ведь жизнь бесконечна и отвратительна, – вздохнул Рэкст. Губы его исказила гримаса, то ли боль, то ли зевота... – Мой друг мертв, моя память вроде мешка с прорехой, а годный враг... он никогда уже не родится, пожалуй.

– Какой же вам угоден враг? – немедленно полюбопытствовал ближний, полагая, что следует подставить под стычку кого-то из молодых алых нобов.

– Враг... – бес мечтательно вздохнул. – Сильный. Опасный. Умный. Скучно играть в поддавки. Иногда тошно.

## Глава 1. Сумерки накануне весны

*«В юности я составил полную куцу древ нобских родов всех ветвей дара. Отнял у себя время, испортил зрение, растратил силы. Зачем? Чтобы избавиться от тщеславия, пожалуй. От такой-то обузы дешевле не отвязаться. Одолев гордыню, мой разум научился отличать подделку от подлинной ценности, пустяк от настоящей беды.*

*Начиная главные в жизни записи, я мечтал однажды одеть их в переплет. Не ради славы или внесения своего имени в историю. Мне противна идея бессмертия, не дающего отдыха ни больной голове, ни усталой, ветшающей душе, ни имени, истрепанному в пересудах...*

*Книги сильнее людей, им плыть сквозь штормы перемен и нести груз мыслей, надежно сохраненный в засолке слов, в приправах притч. Да, мысли доберутся до адресата иными по вкусу. В иное время, иные люди вскроют старую солонину и оценят по-своему, но все же утолят голод любопытства.*

*Пусть и те люди знают: нынешняя беда – всеобъемлюща... Мелеет, заливается великая река знаний. Если так пойдет и дальше, бумажный кораблик моей книги не уплывет далеко. Я чувствую это... но отказываюсь жить хоть немного спокойнее, без мечты, без страха за её несбыточность.*

*Старикам свойственно видеть свет в прошлом и тень – в грядущем. Увы, природа моих страхов не такова! Худшая из бед мира – не морок. Я изучал все записи истории, какие мог найти. И всюду находил признаки одной и той же зловещей закономерности. Как волны прибоя, точат гранит миропорядка чьи-то умыслы. Раз за разом мир выдерживает удары рока, но неовозвратно теряет по песчинке – память, знание, опыт... Если я прав, не найдется моей главной книге читателя и переписчика.*

*Вал бед уже растёт, скоро он обрушится, сметая на своем пути всё лучшее – хрупкое и трепетное, выращенное в душе, а не выкованное в стали. Что ж... мой дар не для боя, моё оружие – чернила и перо. Потому я неустанно пишу, пока душа, пусть и ветхая, сохраняет крохи тепла. Не желаю разучиться излагать мысли без страха и лжи.*

*Пока я жил, мой мир утратил много книг. Я – последний их читатель. Последний свидетель прошлого, ненадежный – но скоро не станет и такого. Я стараюсь успеть заново записать утраченное.*

*Мы с древности вкладывали в понятие «знать» исконный смысл: мы кланялись одаренным. Мы называли их нобами, отмечая и свое уважение, и их долг сильных – защищать и оберегать миропорядок. Мы жили в пестром многообразии, где каждый помнил свои сказки и свой язык. Соседи перенимали у соседей, а не принуждали их к подражанию. Да и как принудить, если война сводилась к ритуальному поединку нобов алой ветви, воинов чести? Их кровью пропитана наша земля. Их клинками нарезаны границы княжеств, не способных поглотить соседей...*

*Твердолобое упорство алых мешает миру развиваться? Так говорят все чаще. Но я полагаю, вес золота в чьей-то сокровищнице – не признак развития. Еще полвека назад мы были безмерно богаты! Кроме обычных книг могли прикоснуться к особым, их называли книгами городов. В тех книгах был смысл, не обернутый в двусмысленность слов. Смысл по-разному открывался читающим, давая ответ на их личное и сокровенное. Может, из-за книг городов, оживляющих души, в нашем мире все еще не приживается слепое поклонение богам... Мы гнули спину не для униженной мольбы всемогущим – мы склонялись, благоговейно черпая мудрость.*

*Увы, волны бедствий набегают снова и снова на берег мироздания. Вымывают золотой песок знаний... Мы утрачиваем память. Некто весьма упорен. Он желает сделать нас суеверными слепыми дикарями. Он уничтожает книги городов, он отравляет жизнь самых светлых носителей дара – белых лекарей. Он норовит превратить нобов в носителей гербов и приви-*

*легий, ничем не обязанных миру и его людям. Он лишает нас права читать и учиться. Он внедряет в безграмотные головы мысль: наш мир обычный, сами мы ничтожны, и править такими дурнями следует при помощи кнута. Еще нам требуются шоры... Для блага, конечно. Только так. Трусливым дурням шоры – благо. И удила благо, и крепкий сарай с каждодневной жвачкой сена – тоже благо...»*

*Ан Тэмон Зан, книга без переплета*

Корзину прибило к берегу черной глухой ночью, когда тонут надежды и выплывают кошмары...

Зевая и кутаясь в вязаный платок, старуха Ула проковыляла к мосткам. Посидела молча, вздрагивая и вслушиваясь в свое одиночество, в безответность спящего селения... Ула слепо шурилась, наклонялась всё ниже к тихой воде, невидимой во тьме и текущей мимо холодно, безразлично. Ночная река выстуживала душу. И оставалось лишь выть, оглашать сумерки жалобами на бессонницу, чтобы тишина не стала непосильной. Чтобы ощущать себя – живой!

Кряхтя и причитая Ула нагибалась ниже к воде, не видя её, но понимая холод всей кожей, всей душой. Рука тянулась – то ли набрать влагу в горсть, то ли...

– А-ах... батюшки, да что ж такое-то? – шепнула старуха, вмиг очнувшись и оборвав ноющий плач.

Берега осенила тишина. Так, без плеска и шума, завязалось самое значимое событие сезона во всей деревеньке и даже, пожалуй, окрестностях.

Рука Улы наткнулась на корзинку, судорожно сжалась! Ребёнок в корзинке шевельнулся конвульсивно, слабо, но старуха вмиг разобрала, что именно принесла река – и запричитала в полный голос. Залаяли псы по берегу. Скрипнула дверь сарая, захлопал крыльями неурочно разбуженный петух... И только люди не проявили себя. Сперва никто не выглянул, зная привычку Улы рыдать без повода. Лишь голос и остался у лекарки от молодости и силы: визгливый, но зычный, вроде сигнального рожка. Такой не годен для музыки, зато оповестит о приказе целое войско, не оставив никого в неведении.

Сонная Заводь не войско, а всего лишь деревня у реки, но Ула не желала замечать разницы, старалась в полную силу, днём и ночью... Деревня настороженно внимала воплям – и ждала то ли их завершения, то ли подробностей происходящего.

– Вовсе свихнулась, – просипел лодочный мастер Коно.

Он-то слышал каждый всхлип Улы: проснулся первым в деревне, ведь его сарай у причалов, близехонько. Старый Коно сперва, как вся деревня, решил переждать шум и натянул одеяло до макушки, норовя заткнуть ухо. Не помогло...

– Не с кем словом перекинуться, так решила нас скопом извести, – отбросив одело, пробормотал Коно. – Без причины, вот чую!

– Скажет, мертвяк всплыл, – отозвался второй сын Коно. Он не унаследовал отцовской сноровки в починке лодок, зато умел не перечить и потому именовался наследником. Вот и теперь сидел среди ночи в сарае и стерег отцовский сон. Сам он твердил, что переживает о здоровье старого, но знающие люди полагали, что причина в ином. – Эх, кинуть нечем.

– Кинуть, – Коно то ли задумался, то ли насторожился. – Эй, а уважение к сединам?

– Так пойду и гляну, а ну как навредил ей кто, мальчишки всякие... кинут чем, – поправился наследник.

– Хотя такую и убить не грех, – продолжил Коно прежним тоном.

– И то, – сник наследник. На четвереньках подобрался к батюшкиной лежанке и подоткнул одеяло. – Вам не дует? Зябко с заката, будто зима возвращается.

– Сам гляну, ведь не утихает, – заинтересовался Коно.

Наследник так же на четвереньках доставил башмаки, потянулся и стряхнул с перекладины отцову кофту, такую старую, что родного цвета не рассмотреть в многочисленных латках

и штопках. Кофту вязала первая жена Коно, памятная ему, это вынуждало беречь бестолковую вещь и настораживало: наследник происходил от второго брака. Морщась и помогая расправить кофту на больном левом плече, усердный сын прилачился, нырнул отцу под руку и повёл старого к дверям.

Порог сарая – он и есть прямой ход на мостки над водой. Те самые мостки, где воеет неуёмная Ула.

– Эй, не на похоронах, – Коно попробовал от двери урезонить травницу.

Дом лодочника по меркам Заводи богат, в два уровня, с отдельно устроенными клетями для птицы, с большим двором и просторным загонem для чужого скота. Иной раз лодки Коно перевозили груз под заказ аж в торговый Тосэн, где запруда, белокаменный замок владельца земель и чиновная палата. В доме принимали разных гостей, говорят, ночевал как-то сборщик податей, сочтя постоянный двор убогим. И переписчики книг гостили у Коно, вроде бы даже были они кровные синие нобы, а не абы кто! Но старик почему-то не накопил в душе гордости за лучшее в Заводи строение. Он предпочитал, пока нет гостей, ютиться в сарае у воды.

Пусть тут пахнет дегтем, а пол завален соломенной трухой пополам с опилками и щепой, но эти стены помнят молодого мастера, – так кряхтел Коно, щупая борта разошедшихся лодок и жалуясь им, понятливым более людей...

– Эй, пустоголовая, – Коно прокашлялся и зашумел, пока сын налаживал масляный фонарь. – Эй! Стыда в тебе нет, до зари баламутишь, люд на ноги подымаешь.

– Дитя уморили! – оборвав похоронный вой, внятно сказала лучшая на всю Заводь плакальщица. – Погоди-ка, а твой-то сыночек небось расстарался, на утро батюшке молока припас? А тебе молоко-то во вред, во вред.

– Эй, крикуха, тебя послушать, так и дрова во вред, и добротные стены душат, и тугой кошель к земле гнет. Хотя молоко... Ладно же, молоко. Эй, иди найди, ты... – Коно оживился и захромал по мосткам, делая вид, что гоняет мух: – хэш-хэш...

Наследнику не первый раз намекали, что он настолько напоминает назойливую муху, что гордое звание стало прозвищем, а сдвоенное – и дразнилкой, известной всякому пацану в Заводи. Очередной раз выслушав «хэш-хэш» и снова подобострастно поклонившись на окрик без имени – «ты» – второй сын поставил фонарь и удалился, пыхтя от усердия.

Коно добрел до края мостков и сел, поджав больную ногу. С удаления в два коротких шага он хорошо видел находку Улы и все ж не становился ни соучастником, ни собеседником. Знал по опыту: сейчас самое то отделаться малой платой за любопытство – молоком. Иначе Ула не постыдится и попросит рыбку, чтоб следом пробормотать уж без передышки и прочее, о хворосте, дырявой крыше и даже разбитом корыте. Только кто виноват, что живёт одна? Сама травница и виновата! Заводь знает: Улу звали в дом лодочного мастера по смерти его первой жены. Вот тогда и надо было отвечать, как следует, проглотив глупую гордость. Мало ли, кто удумал, что она утопила соперницу? Не важно и то, что в доме лодочника кое-кто сгоряча поверил в сплетни, даже от себя разного добавил. Было да сплыло, пора сто раз забыть.

Кто гнёт спину и просит, тот и есть виноватый. Таков надёжный закон жизни. Вот и Коно не уклонился от него: раз позвал упрямую, а после приглашения не повторил.

– Голос не даёт, – отметил Коно, наблюдая возню старухи с тугими, странной выделки, пелёнками. – Сдох. Эй, своего уморила и этот в один миг сдох. Тоже мне, лекарка. По щекам отлупи, вдруг да завизжит?

– Сдох, завизжит... О детях так не говорят, – всхлипнула Ула. – Тем более...

Она оборвала себя на полуслове и снова завывала, оповещая берег о событии и надеясь разжиться если не хворостом, то уж слушателями. Или заглушая несказанное?

Неловкие пальцы щупали сверток, искали способ его разворошить. Наконец, Ула поймала тонкий шнур и дёрнула, и пелёнка подалась...

Ула пискнула и смолкла. Коно сказал своё обычное «эх», помянул великого сома, донного владыку... и тоже осёкся, творя охранные знаки и отодвигаясь, щупая фонарь и не смея отвести взгляда.

– Эх, голова огромная, я сразу подумал. Уродец, – залепетал Коно, голос сошёл в шепот. – Да-аа... дела.

Младенец, стоило ослабить узел шнура, превратился в ребенка, а то и подростка: раскинул во все стороны тонкие, как соломины, ручки и ножки, прежде безжалостно притиснутые к телу. От вида окончательной, безнадежной худобы, лодочнику сделалось дурно, он поморщился и отвернулся.

Лет семь назад в Заводи приключился мор. Приметы еще с осени копились наихудшие. Снег не ложился, вымораживая озимь, шатуны ревели и оставляли косолапый след по опушке диколесья. Кринки с молоком трескались, бабам снилась пустая посуда, а дети даже днем боялись теней в подполе. По общему решению послали за бродячим гадателем, тот разложил карты судьбы и выпали наихудшие – палач, перевернутый рог изобилия. А еще и мудрец косо лег на левую, бедовую, сторону. Гадатель чуть язык не проглотил, гляючи на расклад. Собрал карты, смахнул в шапку – и сгинул, не испросив плату и не высказав толкования. Да и зачем, все яснее ясного!

Следом за бродяжкой с картами по смерзшейся бесснежной дороге бежали куда подальше из Заводи местные богатеи. Коно тоже погрузил домашних в лодки, успел до ледостава. Сам встал у рулевого весла и правил вниз по течению, покуда страх не отпустил его душу. Вернулся лодочник весной, по свежей зелени. Застал тихую, выстуженную бедой деревню. Тогда и узнал: мор не помиловал, нагрянул в полную силу. И уж выкосил без устали...

К роду Коно и лично к старому лодочнику в Заводи не зря особенное отношение. Именно он, один из всех состоятельных людей деревни, не смотрел на чужое горе бесстрастно. Коно привез зерно, выгрузил на берег купленный южнее скот и разделил по нищим домам с опустевшими сараями. Не думал о выгоде – и к лету смог узнавать в лицо уцелевших соседей. Хотя сперва пережившие мор на людей походили мало. Синюшные, со следами обморожений, с вспухшими животами и безобразными, тощими прутьями рук и ног. Но даже те люди были еще – люди.

Ребенок, лежащий сейчас на краю мостков, казался призраком, едва различимой тенью оголодавших. На костях не осталось ни крохи мяса, под ссохшейся желтоватой кожей проступали жилы, мослы. Череп от мертвецкого отличался лишь наполненностью глазниц, зубы все обрисовались под натянутыми – того и гляди прорвутся – щеками.

– Эй, никому не снилось пустое? – проскрипел Коно, отвернувшись от жуткой находки. – Нет, я знал бы. Весна дружная, озимь прет, опорос удачный, да такой, цену в осень за мясо не взять, повезу в Тосэн копченое.

– Ты это о чем? Ты... – насторожилась Ула.

– Ты-ты-ты... Эй, дура по молодости была, дурой и помрешь! Без толку причитать. Сунь его в корзину да отпихни подальше. Так и так ясно: люди явятся на твой крик, хором порешат вернуть уродца реке. От греха, – приговорил Коно и кряхтя поднялся. Неловко стащил кофту с больного плеча. – Эй, слышала? Не можешь утопить, хоть прикрой. Но лучше пристукнуть и забыть, эй? Не жилец, так и сяк – не жилец.

Ула бессознательно нащупала кофту, укутала невесомое тело ребенка, сунула в корзину. Оскалилась затравленно, подхватила ношу и умчалась, будто вспомнив, как следует бегать молодым.

В самую пору управилась: к мосткам брели любопытные, спотыкались, сонно почесывались. Заметили Коно и принялись кланяться. Старый лодочник, человек важный, молча выслушивал пожелания здоровья. Кивал в ответ на поясные поклоны... и, наконец, заговорил. Сразу дал понять, что старуху прогнал, и поделом ей. Ну, всякое кричала, а только она шумит,



что ни день! Вроде, нашла в реке то ли сверток, то ли прям живого ребенка. Эй, что с того? Ума не надо, чтобы углядеть настоящую причину переполоха: в лачуге травницы прохудилась крыша, да и дрова кончились еще третьего дня.

Припомнив знакомые беды, любопытствующие затоптались и стали искать способ поскорее покинуть берег. Ула умела заговаривать боль и ловко лечила травами. Ей были порой благодарны... но чтобы чинить крышу, да еще весной, когда своих дел невпроворот? О таком и просить бессовестно.

Наследник Коно явился с кринкой молока и свертком творога, когда ушли последние сплетники. Старик долго рассматривал пухлощекое лицо сына, налитое, как гноем, неискренней внимательностью. Покривился, помолчал со значением... Велел отнести съестное Уле, проследил, как пыхтит и изображает спешку тот, кто не желает спешить и не готов даром отдать и кроху творога, упавшую со стола. Когда наследник скрылся, Коно заглянул в сарай, выбрал добротную рыбацкую куртку, надел. Снова покосился вслед второму сыну, готовому не то что сидеть у отцовской кровати, но и лечь поперек порога, лишь бы батюшка не вышел да не глянул влево, в сторону рыбацких лачуг. Как раз туда, куда он теперь и направился по мосткам, вдоль своих и взятых в починку чужих торговых лодок, вдоль рыбацких скорлупок, годных лишь для одного гребца. Мостки кончились, и старик споткнулся, замер в задумчивости... Покряхтел, помянул сома – и решительно свернул в кривой, нагло лезущий в гору, проулок, сплошь составленный из земляных ступеней, укрепленных гниловатыми досками и плетёным ивовым прутком.

Чиркая плечами по оградкам и бокам сараев, кое-где протискиваясь боком, Коно добрался до ветхой калитки в две жердины. Пнул ничтожную преграду. Снова вроде бы споткнулся и снова помянул сома. Постоял...

– Эй... – шепнул Коно.

Даже ветерок затаил дыхание, ожидая дальнейшего. И вот старый лодочник решился, миновал калитку и напрямик прошагал в дом, состоящий из одной комнаты. Пнул дверь, бесцеремонно растолкал спящих.

– Эй, лодырь, – глядя мимо лиц, выговорил лодочник. – Возьми в большом доме, что следует, скажи: я велел. Почини ей крышу. Вот же голос... Так и пилит, так и скребёт! От нытья жизни нету! Дрова проверь. Отсыпь крупы, какая годна для детской каши. Я знаю, твоя глупая баба и так носит ей со стола, хотя сама тоща до неприличия.

– Сото, вот, положи, – шепотом попросила хозяйка дома, подсовывая мужу под руку собранную из лоскутов подушку, способную сделать табурет чуть удобнее.

– Вы переступили порог, – напомнил Сото, хозяин убогого жилища, двигая старому Коно единственный в доме табурет. Сам Сото при этом задумчиво хмурился, а его жена торопливо собирала хоть что на стол, ведь гость заглянул поутру, и какой гость. Сото рыкнул от недоумения и почесал широкий затылок: – Хотя, батюшка, раз дело в травнице нашей, то... не считается?

– Дали боги радости, аж чешуся, – не глядя на угощение, огорчился Коно. Он ссыпал в ладонь серебро из кошель, вывалил на стол крупные монеты и смахнул мелочь обратно. – Один сын дурак, второй умник. А среднего, какой мне гош, верно, владыка сом уволок. Считается, не считается... Эй, всё б тебе считаться! Нет, чтобы старших выслушать. Уважительно, понял, эй? Да язык прикусить хоть раз! Крышу, сказано тебе, справишь, тогда и приводи свою... тошую. Может, выгоню вас наново. Что за жизнь? Который год сплетники мне моют кости по твоей дурости, эй? Второй что ли... Не-ет, третий уже. Ула вон выудила дитя из реки, а твоя баба и так-то не расстаралась. Тьфу на вас. Выбрать жену не умел, жить не умеешь, поклониться отцу лишний раз – и то спина ноет. Бестолочь.

Коно стукнул по столу узловатым кулаком, скривился и покинул нищий дом, не оглядываясь и не слушая, что старший сын скажет вслед. Он и так не сомневался: слова вежливые и все – о порученном деле...

Ветерок вздохнул вроде бы с облегчением, сдул сумрак и затеплил лучину рассвета.

К вечеру большого дня в Сонной Заводи разгорелся большой пожар слухов и пересудов! Даже глухие старики прознали: Коно переступил порог того самого дома! Пришел, хотя прилюдно клялся – и это три года было в силе – никогда не делать подобной глупости.

Еще день спустя Заводь оторопело пронаблюдала переезд Сото с женой в богатый отцовский дом.

Это потрясение едва не лишило ума самых ярых сплетников. Год, мозоля языки и раздирая горло до хрипоты, добрые люди прочили упрямому старшему сыну Коно то наследство, то повторное отлучение, уже с запретом жить в деревне. Еще бы, жену взял против воли отца, из дому ушел, хлопнув дверью, да и кланяется так себе, не в пол. И что, получается его вот-вот станет надобно звать Сото хэш Коно?

О находке Улы изредка вспоминали, но без интереса. Год сытный, детки здоровы, надобность в лекарке никакая, а без повода сунуться к ней и слушать болтовню, покуда уши не отвалятся... зачем? На найденыша глянуть? Так мало ли их, никчемных. Год назад, по слухам, приключился мор выше по течению. По весне побирушки заполнили деревню, еле спровадили лишних, кто в работники не годен. Сумасшедшая Ула, ясное дело, как раз такого и приютила. Пусть ее, лишь бы не просила лишнего, не мозолила глаза и совесть.

## Бес. Город у реки

Необычайная для здешних мест жара превратила древний каменный город Тосэн в раскалённую сковороду. Ослепительные блики солнца масляными брызгами метались в оконных стеклах, кипели на фальшивом золоте вывесок.

– Покайтесь, грешники, – монотонно гудел бас. – Покайтесь, ибо грядёт огненный вихорь последнего дня. И только те, кто верует истинно, обретут спасение. Покайтесь, грешники...

Процессия небыстро, без суеты, брела от реки Тосы к главной городской площади, часто именуемой Первой за свою древность.

Даже самые твердые в новообретенной вере паломники отчаянно косили в каждый темный зев полуподвала: из-за жары хозяева постоянных дворов и харчевен приглашали гостей прямоком в погреба, а дешёвой выпивкой торговали на крутых ступенях, ведущих в полумрак, к блаженной прохладе.

– Покайтесь...

Процессия явилась в город невесть откуда, и подросла почти одновременно с жарой. Она казалась миражом, бредом утомленного зноем рассудка.

Смуглый сухие люди чуть покачивались, их просторные белые рубища мели мостовую, непривычные большие барабаны то рокотали, то стихали. Нудно, надтреснуто тренькал колокольчик... И всё это – из-за какого-то греха и какой-то истины.

Нельзя сказать, чтобы в высшее никто уж вовсе не верил. Но до недавнего времени, пока оставались доступны особенные «книги городов», люди утоляли жажду странного, кланяясь книгам и благоговейно всматриваясь в страницы, где для каждого видна особенная истина, близкая именно ему. Увы, три сотни лет назад багряный бес Рэкст вздумал извести книги. В точности никто и не помнит, верно ли это... но слухи еще живут, и они именно таковы.

Три сотни лет... так много и так мало! Все это время кто-то прятал уцелевшие книги, а кто-то предавал и выдавал прячущих и обретал порой золото, а порой смерть.

Здесь, в Тосэне, в древней башне на Первой площади, вроде бы хранилась последняя дивная книга. Она и теперь лежит в комнате под самой крышей – так гласит уложение чиновной палаты. Вот только никого в ту комнату не пускают, чтобы не была украдена книга. А город тёмным, невнятным наитием сплетен и слухов ведаёт: нет книги. Давно нет... есть лишь ловкая ложь, и она – капкан для жаждущих знания, расставленный Рэкстом.

Никто из живущих не видел книгу! Сменились поколения, быль стала сказкой, небылью. «А прочти в книге города», – говорят теперь, намекая на то, что вовсе уж нельзя выяснить.

– Покайтесь, – гудел, плавился в жарком мареве, густой бас.

Процессия ползла, ослепительно белая, трепещущая тканями. Поблескивали медью окантовки барабанов, лучилась начищенная бронза колокольчиков. Стучали по мостовой твердые подошвы южных сандалий. Качались в такт шагам длинные, больше роста человеческого, тряпичные полотнища на палках – тексты главной книги новой веры, книги, не умеющей меняться под взглядом жаждущего, одной на всех, и значит – неоспоримо верной. Так полгали гости, явившиеся в Тосэн. И так, под барабанный бой и завывания чтецов молитвенных текстов, они намеревались вскорости стать в городе – хозяевами.

– Вы умрёте, грешники... вы иссохнете в зное смертном, – монотонно страдал бас.

Процессия приблизилась к площади, колебля марево чудовищного жара, истекая потом. Шаги мерно шаркали, дыхание раскаявшихся хрипело и булькало, – и вдруг передние ходки остановилась. Барабан настороженно грохнул и затих. Задние ряды стали было напирать, но люди быстро осознали: на площади нет и клока тени – и устало расплзлись, растеклись кляксами дряблых тел по теневой стороне улицы...

Ничтожной, слабой плотинкой для толпы стал всего лишь старик. Он замер в устье площади. Такой жалкий, слабый... Старик опирался на палку, шурился и кряхтел – он будто воплощал собою тяготы греха и доказывал общую потребность в раскаянии. Но сам старик так не думал. И, вот чудо – он даже не вспотел...

– Ты, шелудивый пес Ом Сит Шино, – каркающим пронзительным голосом заверещал старик, прицеля костлявый палец в главу процессии, замершего от неожиданности. – Там, за морем, в краю пустынь и песков, ты был с позором изгнан из дворца мудрости, нерадивое отродье лени и порока. Ты не мог без ошибки повторить кряду и пяти знаков старой письменности. Ты, о ничтожество, рядом с коим и муха кажется верблюдом, на полотнищах сей нелепой книги уместил три дюжины грубейших ошибок! Тут, и здесь, и вот ещё...

– Мастер Ан, – шепотом ужаснулся «сиятельный столп» новой веры. – Вы? Здесь? Как же... Но я...

– Истина тебе открылась? Тебе? Когда же такое стряслось? Когда ты валялся пьяным в сточной канаве или же когда тебя охаживали оглоблей, застав с чужой женой? А то и другое прежде приключалось всякую ночь, мне ль не знать!

– Все же это вы, – окончательно смутился светоч веры. – Но, учитель Зан...

– В первом же слове на знаменах два изъяна написания, – верещал старик, сжав мелкие бессильные кулаки. – Ничтожество! Бездарь! Жируешь, обманом приманивая золото? Вера, как же... всегда она – бараний плов для избранных и сухие кости для прочих. Вера? Понять бы, как это вы явились сюда вместе с жарой, уж не ваша ли в том вина, что город подобен пустыне? Мой дар в смущении, я чую подвох и я намерен в нем разобраться. Дай-ка пощупаю полотнища, весомы ли слова?

– Уберите старика, без суеты, – тихо велел тщедушный человечиска, занимающий скромное место в хвосте процессии.

Три могучие фигуры в рубищах слитно сунулись вперед, разгребая толпу – как купальщики ряску в стоячем пруду.

– Суд чести, – вдруг выговорил старик отчетливо и спокойно. Его желтый, кривой палец в кляксах чернил нацелился в настоящего хозяина процессии. – Ты, тварь мерзкая! Нет в тебе веры и нет покаяния. Хуже, я не ощущаю в тебе и человеческого начала. Но я готов принять даже и смерть, если мои слова далеки от истины. Вот что я чую: ты – причина зноя и исчадь лжи!

– Истинно так, в городе жарковато, – насмешливо прошелестел тщедушный. – Грешник безумен, он сам возжелал смерти. Суд чести? Нобы всех мастей отдыхают в тени дальних помещений, опасаясь, как бы им не напекло голову.

– Мне напекло голову.

Рядом со стариком проявилась фигура – будто из жаркого марева соткалась. Зеваки в тени даже глаза взялись протирать: не было никого мгновение назад на всей широкой площади – ни души, ни тени! И вот уже стоит воин. Вроде бы голос его возник даже раньше, чем стало видимым тело.

– Я ноб алой крови, и я слышу всем даром своим в словах достойного синего ноба Монза истину без изъяна, – алый улыбнулся, мягким движением левой руки сдернул с клинка убогие тряпичные ножны. – Такой редкий случай. Полноценная истина взывает к бою. Я счастлив.

Алый, как и большинство действительно сильных нобов этой ветви дара, выглядел бедно, но опрятно. Он был еще не стар, хотя в волосах уже отчетливо серебрилась седина. Алый определенно прибыл в город не ради боя или развлечения – длинная сабля с очень малой кривизной лезвия была всего лишь деревянной копией с фамильного оружия.

Три рослых наемника хозяина новой веры, в первый миг дрогнув при виде врага, продолжили пробираться сквозь густеющую толпу. Нет большой угрозы, решили люди тщедушного.

В руках у каждого наемника будто по волшебству возник клинок, прежде ловко спрятанный под рубищем. Трое зашагали быстрее, обмениваясь жестами, распределяя роли в предстоящем бою. Коротком и простом! Ведь алый один, его оружие – жалкая подделка, его возраст – прилично за сорок...

Тщедушный человечек, вздумавший вытопить из жары и людских страхов новую веру, резво подобрал края одеяния и юркнул в щель ничтожной боковой улочки, и сгинул без следа. Даже марево жары не колыхнулось... Так что, когда трое с ревом налетели на пожилого ноба, толпа созерцала бой, не сомневаясь в его исходе... Вся толпа, кроме подлинного зачинщика спора. Он-то знал об алых куда как много!

Деревянная сабля встретила удар стальной – и выдержала, проведя чужое оружие косо, стесав хрусткую щепу с лезвия, заполированного во многих тренировочных боях.

Колено алого смяло лицо самого наглого и торопливого наемника, и никто не успел понять, как и когда ноб нагнул врага, чтобы плющить его лицо в месиво крови и костного крошева.

Раскрытая ладонь алого выбила дух из второго наёмника. Ребра крепчайшей грудной клетки загудели, как барабан, спружинили – и подались, с треском ломаясь.

Алый шагнул под удар третьего бойца, потерявшего врага из виду. Свист обозначил движение смазанного, невидимого в полете деревянного клинка – и сталь жалобно звякнула, ломаясь...

Бой иссяк. Он весь для зевак был – вспышка света и свист клинка... Мгновение, даже рассказать не о чем! Алый сразу остался единственным бойцом на площади, где вскипел и иссяк бой чести. Бой исчезающе краткий, как жизнь дождевой капли на раскаленной сковороде.

Деревянный клинок дробно запрыгал по мостовой, брошенный без внимания. Алый снова вспыхнул светом и сразу оказался у границы улицы и площади. Он заслонял собой старика, и бережно, как ядовитых змей, держал за древко две стрелы, пущенные кем-то очень ловким издали, с крыши.

– Что б тебе дома посидеть в такую-то погоду, – буркнул алый. Брезгливо переломил и уронил обезвреженные стрелы. – А не явись я за своим заказом?

– Так не готов твой заказ, – удивился старик.

– Хм... мне сказали иное, и советовали спешить. Мол, ты снова надумал странствовать и завтра уходишь из Тосэна, – удивился алый. – Ладно, разберемся. Ан, Зан – это что, тоже твои имена?

– Давно их не слышал... даже звучат странно, как чужие, – старик охотно позволил поддеть себя под локоть и побрел вниз по улице, сквозь толпу, которая трепетала и таяла перед алым нобом, буквально испарялась... – Как ты, как сын?

– Я все так же, а мой малыш подрос. Видишь, уже доверяю ему фамильную саблю, – в голосе алого ноба зазвенела гордость. – Сэн растёт толковым, и сердце горячее, и руки работающие. Остался дома, чинит крышу... жаль, я опять не познакомил вас.

– Жаль, – кивнул старик. – Но не беда. Мне покуда мил этот город. Тут... дышится.

– Скажешь тоже.

Они брели по улице, говорили и улыбались – знакомые, которые не виделись давно и вряд ли скоро повстречаются опять. И оба вроде не помнили, что только что стояли под смертью. Для алых она – не враг и не друг, всего лишь тень, которая всегда рядом с воином. А для синих нобов, знатоков слова и хранителей памяти, смерть и вовсе – невидимка. Верно сказал тщедушный: некоторым от рождения будто голову напекло...

Создатель веры, кстати, уже добежал до городских ворот, быстро их миновал и зашагал прочь, невнятно бормоча на наречии, чужом для этих мест. По жестам и выражению лица



понятно одно: зол и ругается. Так он и бред, морщась и шипя, скалясь и вздыхая... пока его не окликнули.

– Кукольник, тварь дрожащая! Кто тебе позволил лезть на мои земли? – медленно выговорил бес Рэкст, поднимаясь в рост и лениво потягиваясь.

Рэкст устроил засаду в тени усохшей березовой рощицы. И сейчас, когда багряный бес спускался со взгорка к дороге, кроваво-алые искры текли по его волосам все обильнее, так что постепенно вся голова запламенела яростью.

– П-приказ, – тщедушный замер, опасливо глядя на Рэкста. – Её приказ. Испробовать тут, в четвертом царстве, веру. То есть ре... религию. Раз в полвека так и делаю. Не рычи! Я доложу: еще рано, но уже скоро. Ты...

– Мы с тобой зовёмся бессмертью, поскольку не знаем предела своих лет, – прошелестел багряный бес. Он улыбнулся ласково, но взгляд полыхнул отчаянной рыжиной, выдавая настоящее настроение. – Ты знаешь, что я высший хищник. Но ты явился сюда. На мою территорию! Ты, каменное уродство первого царства. Ты, гнусь, вечно жаждущая стать у людишек богом. Ты, знающий, что меня, хищника третьего царства, они всяко будут бояться сильнее, с верой или без нее. Это моя земля!

– Но...

– Я вытянул карту палача, когда королевой был создан новый порядок. Ты явился сюда, к палачу, потому что ищешь смерти? – еще ласковее спросил Рэкст, облизнулся и стал подкрадываться к собеседнику, широко раздувая ноздри. – Тогда выбор пути хорош. Я зовусь у людишек граф Рэкст, я проклят быть здесь, среди них. Я посажен на цепь и служу. Но это моя территория! Моя! Только моя! Даже ей с её картами, властью и иерархией не изменить мою природу. Ты видел метки? Ты чуял метки, каменная задница? Ты пересек мои метки!

– Твоя земля, кто бы спорил... я же хотел по-дружески, без обид, – залепетал тщедушный, пятясь и икая. – Исчезаю! Исчезаю...

Рэкст взрыкнул и метнулся вперед, незримый для людского глаза, стремительный. Когтистая лапа прорвала грудину Кукольника со звоном и скрипом. Прошла насквозь – и замерла, оставляя тело корчиться нанизанным на локоть... Рэкст вторым рывком выдрал свою руку из тела врага, отшвырнул его и взвыл победителем.

Тщедушный сник мешком у дороги. Но вот он дернулся, по спине прошла конвульсия – и неотличимое от человека существо стало вставать, противоестественно живое, с зияющей дырой в ребрах. Дыра постепенно затягивалась, тщедушный хлопал себя по рубашке, всхлипывал, стряхивал песок и пыль – то, во что превратилась омертвевшая плоть.

– Тварь дикая, – бормотал тщедушный. – Я доложу ей.

– Мнишь себя богом, погоду портишь, – усмехнулся багряный, и его волосы стали терять яркость. – Боги не жалуются. Убирайся. Тут все – моё.

– Так в том-то и дело! – взвизгнул тщедушный. – Куда ни сунься, ты уже был там и отметил место, как своё.

– Будешь драться за право передела?

– С тобой? – икнул Кукольник. – Нет уж... исчезаю. Мою работу можно делать и потихому.

Он действительно растворился, воспарил маревом в горячее бесцветное небо...

Рэкст вернулся в тень рощицы и снова принялся ждать. Его взгляд темнел и делался то ли карим, то ли болотисто-бурым с прозеленью – кто скажет наверняка? Кто посмеет взглянуть вблизи и пристально? Волосы беса потрескивали и теряли багрянец, но их всё ещё перебирал незримый ветерок непокоя...

Когда от ворот ударил конский галоп, бес Рэкст уже выглядел вполне человеком. Он равнодушно прищурился, без азарта презирая и этого исполнителя из своей свиты, одного из многих, готовых служить бесу за его золото, за свою причастность к окружению сильного.

– Мы воспользовались помощью советника, – смущенно лепетал гонец. – У нас не было времени и полного понимания... прошу прощения. Он смог вывести на площадь нужного человека в указанное вами время.

– Советник хорош, жаль, пока он не мой, – прижмурился бес. – Втащил в игру алого упрянца. Тонко, мягко, ненавязчиво... Что он запросил в оплату?

– Раздела интересов. Отсрочки для перемен в правах нобов.

– Как обычно, на два года? Допустимо... Тот синий ноб, книжный опарыш Ан Тэмон Зан. Помню его, как же... Присмотри. Прежде он был под приглядом? Какое имя он взял в княжестве Мийро? Числится нобом или же нет?

– Н-не могу вот так сразу... Умоляю простить, я выясню.

– Плохо, – в голосе беса проявилась ласковость. – Исправляйся, пока не стал уж очень заменим. Да, сегодня сходи и закажи старику список с книги. М-мм... «Сорок стратегий». На языке подлинника, старая стилистика султаната Каффы, обязательно с цветочными орнаментами и лозами. Заранее купи и отдай ему для отделки переплета тигровый глаз и сердолик. Он поймет, кто заказчик. Пусть вспотеет. Не торгуйся. Когда назовёт цену, заплати вдвое против запрошенного. Пусть злится, червь щепетильный. Скажи, хозяин сам заберет заказ. Протренируй, как примет новость. Если у него есть то, что я ищу, он насторожится. Да: алого под опеку. Кукольник... он по-пустому мстителен. В отличие от меня, именно мстителен. Так что алого – под опеку. Предложи ему службу. Трижды.

– Он же из рода Донго, сами знаете... Он откажется, – смутился гонец.

– Тогда будет сам виновен в том, не знаю в чём, – зевнул бес. Подставил лицо солнцу и улыбнулся. – Ну вот, с засухой мы покончили. Каменный ублюдок ушел, и гроза ломится в гости... Я доволен.

## Глава 2. Золотое лето

*«Насколько я могу судить по записям чиновных палат, сами эти палаты распространились повсеместно в последние две-три сотни лет. Прежде они были привычны вне нашего княжества, за горами, за Великом морем, в Онской империи, составленной из множества уездов.*

*Определенно, враг моего мира, готовя новую волну бед, решил наделить чиновный люд особой властью в каждой земле, при любом правителе. Он удобен – чиновный люд. Выделившись над прочими, некогда скромные переписчики и толкователи ныне творят закон, а вернее, исправляют его по подсказке. Кто шепчет им в уши? Не ведаю... Но нельзя составить записи единообразно, не имея образца! Теперь и за морем графы и бароны, и у нас чиновники девяти рангов. У них ограничено обучение чтению, у нас тоже. У них приказано именовать знатно всех, кто имеет дар крови или же дар от правителя – титул, земли, ранг. Будто одно равно другому! Будто дар крови – не долг перед людьми, а выгода для самого ноба...*

*Все перепуталось, и, сплетенное неловко, оно трудно приживается. Неразбериха растет, что на руку загадочному злодею и помогает дальше уродовать устои под видом их исправления. Нас приучают не смотреть в небо, не считать звезды, не любопытствовать... и не вносить нового при переписывании книг.*

*Ученые – у этого слова был исконный смысл, обозначающий людей, всю жизнь пребывающих в поиске нового, в неустанном труде ума. Ныне учеными именуют чиновников пятого ранга, опытных в толковании закона и громком чтении с выражением...*

*Наш мир еще недавно был полон живых чудес, помогающих обнадеженному сердцу биться громче. Но книги городов сделали недоступными, якобы после попытки кражи нескольких. Нобы утрачивают силу крови, растворяясь в титулованной знати. Особенные дары крови превращаются в небыль один за другим.*

*Уже никто не верит, что поэма о соловье и розе описывает деяния подлинного белого лекаря, а не рассказывает волшебную сказку... Что слух чести способен распознать самую тонкую фальшь в сказанном, а слово летописца имеет вес. И синий ноб вроде меня знает этот вес, даже не открыв книги...*

*Но пока не всё утрачено! Я гостил у нобов белой ветви, достойных именовать себя исконной знатно. Они верят в свой дар и учат наизусть старинную поэму, и хранят её список не ради украшения полки, а для сбережения тех самых слов. Особенных для рода, пусть теперь некому сказать их в полную силу. И книга та – полновесна...*

*Ан Тэмон Зан, книга без переплета*

– Сенокосец, сенокосец, держись за палку, а то ветром унесет! – прокричали из-за угла и, конечно, бросили палку.

Ул проследил её полет и чуть нагнул голову влево. Острый сучок прочесал волосы, заправил за ухо, не касаясь щеки. Никто в Заводи не умеет так уворачиваться! У остальных, полагал Ул, просто нет возможности постоянно выверять навык.

Кто придумал дразнилку, неизвестно. Зато ссадина отметила памятное время первой обиды... Ул тронул шрамик. Мгновенно ощутил, как колыхнулось воспоминание, оживляя и вплотную придвигая ту раннюю осень, первую его осень в Заводи.

Красные лодки листьев плыли в ночь. Он сидел на мостках – невесомый скелет в просторнейшей рубашке, пугало-пугалом... Он промывал свежую рану, и пальцы дрожали от обиды, которая больше удара. В груди щемило. Казалось, что сам он такой же лист осени. Он лишился родной ветки-семьи, уплыл в ночь, и нет в памяти прежнего. Высохло... Отломилось, как черешок. Где родная ветка, есть ли ей дело до утраты листка?

В первое лето Ул много ел и не поправлялся, хотя кости быстро, резко вытягивались в длину. Так прошел месяц, второй... Худоба – мама Ула призналась недавно – к раннему сенокосу того года сделалась окончательно жуткой. Детский скелет, шатающийся под всяким ветерком – неужто живой, не привидение? – нагонял уныние и страх на соседей. Тем более, в ребенке было странно всё. Ул вызнал: сперва он лишь ныл и агукал, но скоро начал говорить связно, по-взрослому. Вмиг усвоил имена и прозвища жителей, их нор и привычки. Пристрастился к рыбной ловле. Окреп. Ближе к осени помог старому Коно смолить днище лодки и не был изгнан за бестолковость. Без маминых подсказок, наблюдая, выучил травы, самые главные для лечения нарывов и ссадин.

Первая ссадина от брошенной палки показала: да, он окреп, но так и остался чужим для Заводи. Станным: тело из невесомых костей, во взгляде – вечный голод и еще нечто вроде тени презрения... хотя это не презрение, а неуместная брезгливость к еде. Непроходящая тошнота...

Мама Ула переживала, плакала. Больно ей было всякий день и за эту худобу сына, неизбынную, и за косые взгляды, и за дразнилки и глухое неприятие найденыша Заводью. Взрослые осуждали молча: оборвыш, пусть как угодно выглядит, лишь бы не лез на глаза. Малышня донимала злее, так и липла. Пока Ул оставался слаб, синяки не переводились. Когда выяснилось, что силы в невесомом теле накопилось больше, чем кажется на вид, Улу и это вменили в вину. Поводились дразнить из-за угла. И вот, нашли способ усилить оскорбление: бросили палку, впервые крикнули про сенокосца – паука, состоящего целиком из тончайших нитяных ног.

Прошло время, и теперь палки свистят мимо! Ловкость чужака в уклонении оскорбляет бросающих, а его нежелание швырять палку или камень ответно – и вовсе доводит до бешенства. Но дети не унимаются. Они ведь слушают старших, и те тоже – не унимаются, переминают косточки и паучку, и его названной маме...

Рогатая палка запрыгала по дороге и замерла, уткнувшись в забор.

– Сенокосец... Косить не пробовал, сгребая уж всяко лучше крикунов, – буркнул Ул, удобнее перехватил корзину и поволол дальше, шепнув: – Косят взрослые.

Это было важное замечание – о возрасте. Ул много раз пытался посчитать или угадать: сколько ему лет? По росту если, так в первое же лето он сделался не ниже сына мельника, то есть годным на все четырнадцать. Правда, Ул тогда сутулился и сгибал ноги в коленях, то ли желая спрятать нескладность худобы, то ли помня прежнюю слабость... По уму и сноровке в работе он и вовсе взрослый!

Четыре года минуло с ночи, когда мама выловила его из реки. Растрепанная корзинка по-прежнему припрятана в сарае. Плетение незнакомое, работа тонкая. Пеленки тоже особенные, невесомые, и еще сохранился витой шнур с золотой искоркой. Матушка Ула никогда не скрывала от найденыша историю его появления в Заводи, не набивалась в кровную родню. Но как ее еще звать по совести? Она из воды вытянула и отстояла, ведь всякое говорили, а она не обижалась и сына в обиду не давала, насколько умела.

Никто не искал корзинку с потерянным ребенком. Получается, правильно забылось прежнее? В первую осень, когда щеку порвала та палка, казалось: надо найти прошлое и разыскать с неведомой кровной родни за свою боль. Потом была вторая палка, и третья, и наконец та, с которой Ул перестал вести счет. Научился уклоняться. Боль ссадины остыла, обида на свое беспомощство подернулась ледком давности, как вода у мостков.

В зиму мама Ула болела, кашляла. Он сидел рядом и перебирал сухие шуршащие травы в тряпицах и коробах. Тогда и стало понятно: незачем искать прошлое! Он здесь нужен, и здесь ему есть место. Полезное. Важное.

Снова и снова приходили весны, даровали Заводи вдоволь дождей и тепла. Ул научился не только уворачиваться, но и ловить палки. Поводился громко благодарить за помощь в сборе

хвороста. А, поскольку злыдни отчего-то помогать опасаются более, чем вредить, такой ответ их обижал до слез. С нынешней весны стало еще занятнее: палки теперь кидают друг в дружку все дети, завидно им, что «серый паучок» ловит, как никто другой. В Заводи прибавилось ссадин на пухлых детских щеках. Рассерженные мамы нехотя бредут к Уле за мазями и норовят заодно укорить травницу, обвинить в дурном воспитании найденыша.

– Хэш Коно, я принес рыбу, – выдохнул Ул, опуская тяжеленную корзину и заодно кланяясь.

– Не пойму, вежливый ты или из вредности так держишься, – отозвался Сото, старший сын лодочного мастера. – Иди ты... хэш Ул, покуда я добрый.

– Могли бы кинуть в меня во-он тем подарочком, – широко улыбаясь, посоветовал Ул, присмотрев у стены роскошное дубовое полено. Такое способно гореть и давать тепло так же долго, как огромная, в рост Ула, охапка бросового хвороста.

– Может, кинуть ещё и копченым окороком? Ох, нахальный ты. Полено ему отдай. Непрошенное. Без благодарности. Угрей принес?

– Да. Все крупные, из серебряной породы. Все ночного вылова.

– Тебя однажды утопят, – вздохнул сын лодочника, покосился по сторонам и заговорил тише. – Не знаю, как ты ловишь, что за способ. Но впредь не хвастай.

– Так я никогда...

– Именно. Только мне носи, и обязательно прикрывай бросовой плотвой, – строго велел покупатель. – Вид твой едва терпят. Прознают, что еще и добычлив сверх меры, не простят. Безденежную удачу люди способны перемогать, но серебряные угри – удача денежная. Приключись неурожай, кого назовут виновным? О мамке подумай.

– Да, хэш Коно.

– Еще раз назовешь наследником, прибыю, – пообещал старший сын лодочника. Прищурился. – А поймаешь? Оно тяжелое.

– Поймаю, дядя Сото.

– Вот, дядя Сото, а то расшумелся... хэш-хэш. Тогда уговор, – задумался Сото. – Если столько сил в тебе есть, чтобы поймать, ты годен косить, пожалуй. Отнесешь полено и дуй к опушке. Проверим. Второй укос вот-вот подоспеет, трава сочная, работники же повымирили будто.

Продолжая ворчать, Сото прихватил полено, примерился, морщась и неодобрительно изучая тощее, нескладное тело найденыша. Полено весомое, его бы надвое развалить, и затем еще надвое – самое то. Тяжесть изрядная, не дерево – железо!

По всему видно, сперва Сото хотел бросить бережно, в руки. Затем вспомнил о сенокосе, посерьезнел и метнул в полную силу, целя мимо головы. Поймать оказалось просто, но полено закрутило Ула. Пришлось выдирать добычу из воздуха, плотного из-за вложенной в бросок силы. Протанцевав с дубиной на вытянутых руках два круга, Ул наконец остановился, покачнулся – но удержался. Крепче обнял добычу, притиснул к груди. От дерева пахло сухостью зимней рубки. Кора сотней твердых ногтей впивалась и щекотала живот сквозь рубаху.

– Сунь в корзину, не то папаша увидит, возьмется свое «эй» кричать на всю улицу, – усмехнулся Сото. – И на опушку бегом, понял? Сегодня трава влажная, самое то пробовать. С непривычки.

Пока Ул танцевал с упрямым поленом, его улов оказался перевален в большое корыто, так что освобожденная корзина кое-как вместила новый груз, топорща бока и похрустывая прутьями. Домой Ул не бежал – летел! Только и успел на ходу поддеть ногой две палки-дразнилки, чтобы и их осенью использовать с толком, превращая чужую злость в печное тепло.

Мама долго любовалась поленом и хвалила за ловкость. Узнала о новой работе и вовсе расцвела. Украдкой сунула в узелок кроме хлеба творог – у кого выпросила? Проводила,



от порога махая рукой. Ее взгляд ложился теплом на кожу и чулся даже тогда, когда домишко скрылся за поворотом.

Думая, как следует выглядеть отцу, Ул всегда избирал за образец Сото. Тот хвалит редко, ведь он слова ценит недешево. Сам крепкий, сила за ним есть, и теперь еще и звание хэша прибавилось. Но Сото работает как прежде, ловко и даже зло. А иной в нем злости нет, и лени нет. Виданное ли дело, чтобы состоятельный человек сам пришел и маялся тяжким делом с утра – да за полдень, когда наемники спят в тени. Учил косьбе никчемного пацана. И ладно бы сел да покрикивал, нет: он две косы принес.

– Толку от тебя меньше, чем хотелось, – решил Сото, наконец объявив отдых. – Схватываешь быстро, ловкость завидная. Но веса нет. Не ты машешь косой, она тобой. Убьешься в полдня... Раз так, поставлю на неудобье, – Сото ткнул пальцем в заросли при опушке. – Там замах не требуется, зато ловчить надо во всю. Косу поищу, вроде была малая. Мы кормим работников на закате, и тебе кус причитается. От сего дня и далее, пока будем косить. – Сото усмехнулся в усы. – Или пока не сдохнешь. Сам напросился, сенокосец.

– Благодарствую, хэш Коно, – льстиво кланяясь, отомстил за дразнилку Ул.

Сото расхохотался, поддел обе косы и пошел прочь. Широкий, на рубахе всего-то одна полоска пота. В волосах золото лета, сколько его ни есть.

Ул растрепал узелок и добыл творог. Руки дрожали так, что самому смотреть неловко. Чудо, если Сото не заметил, до чего загнал ученика. А если заметил, тем более чудо, что ограничился мимолетным попреком. Слабых гнать надо, слабые делу – помеха.

– Серый паучок, – кривя губы, шепнул Ул.

Он знал, как звучат эти слова. Слишком хорошо знал и то, как смотрится сам, недотепа с приклеенным крепче имени прозвищем. В нем нет цвета, будто еще в реке тело заплело паутиной стылого тумана – да так и не отпустило. Волосы мягкие, не прямые, но вроде и без кудрей, всякий репей норовит свить в них гнездо. Кожа бледная. Даже лето не дает ей загара, жадничает. Глаза вовсе никакие, тень в них лежит. Ресницы длинные и тоже без цвета. Их толком не видать – но солнце не дает блеска взгляду... Как его такого мама Ула принимает? Ведь принимает, родной он для матушки, неподдельно.

Творог раскрошился в дрожащих пальцах. Кое-как подобрав по крупнице, Ул облизнулся, вздохнул... Полежал еще, млея от жары и ощущая, как медленно, нехотя, судорога отпускает плечи и запястья, высвобождает спину. Встать было пока что трудно. Сдавшись слабости, Ул перекатился на бок и задремал.

Когда вечер залил речное русло розовым молоком, работник Ул явился за своим законным ужином, не хромя и не горбясь. И домой он шел уверенно. Мама даже смогла сделать вид, что ничего не замечает. Утром, правда, сунула под руку мазь и налила особенный взвар, глядя в пол и стараясь избегать разговора на обидную для сына тему.

– Ты бы погулял, – мягко посоветовала она, выбирая из корзины со свежим уловом мелкую рыбу и принимаясь ее чистить. – В верхние улицы сходи, даже вон – в Полесье. А что? Сходи-ка в лавку, правда! Оттуда нам заказ дан на лесную мяту с чабером. В обмен обещана соль, еще крупа в довесок.

Такое дело в иной день мама бы непременно исполнила сама. Когда в доме появился ребенок, она отвыкла крикливо набиваться на разговоры, пусть самые вздорные – лишь бы разрушить молчание. Но по-прежнему Ула любила опрятно одеться, сложить в красивую корзинку травы и пройти без спешки по улицам вверх, в богатую часть Заводи. Еще лучше – пусть и редко это удастся – покинуть деревню и дойти до Полесья, села на торной дороге. Попав туда, матушка не спешила завершить дела. Она охотно гуляла по базару, где торгуют даже летом, где новостей много во всякий день, а незнакомые люди непрестанно селятся в постоянный двор или же покидают его, увлеченные неведомыми делами.

Сейчас мама великодушно уступала сыну праздник. Было неловко принять подарок и непосильно отказаться. Ул вмиг рассмотрел заготовленный с ночи короб с травами в углу, вскинул на спину и побежал, забыв и узелок с едой, и свою вчерашнюю полуобморочную усталость. Еще бы! Ему до Полесья удавалось добираться от силы дважды в лето.

Ул мчался через Заводь, не отвлекаясь ни на что, и предвкушал, как будет много времени там, в селе. Он все рассмотрит. Наконец-то, ведь обычно дел много, да и мама с её привычкой стоять и говорить, говорить... Отойти нельзя, она опирается на плечо. Ей важно, что она не одна, что есть это плечо, самое тощее в Заводи – но безропотно подставленное под руку. Родное.

Поле пробежалось как-то само собой. И взгорок, и роща. Впереди раскинулось узором Полесье, похожее на причудливый ларец с тонкими перемычками заборов и оград, с драгоценными, украшенными резьбой, теремами самых богатых жителей. И лошадки, отсюда игрушечные, есть у коновязи. И витает, дразнит запах яблочных пирожков и медовых пряников. Может, запах тот и ненастоящий, но сам лезет в нос, памятный по прошлой осени.

Однажды Ул видел близ Полесья чудо: пожилой, бедно одетый человек сидел у березового ствола и быстро, сосредоточенно водил пером по дешевой сероватой бумаге. Под пером оживали и расцветали окрестности. Картина, рожденная из однотонных штрихов, чудом получалась ярче и занятнее настоящего Полесья... Ул стоял за спиной у рисовальщика, затаив дыхание и плотно сжав зубы, чтоб сумасшедшее сердце не так трепыхалось у горла, чтоб вздохом не спугнуть чудо, чтоб не выдать себя и не быть изгнанным. А когда рисовальщик что-то почуял и начал оборачиваться – ох, как же Ул припустился бежать! После сам не мог объяснить, отчего... Кажется, он ужасно, невыносимо боялся, что создатель чуда скажет нечто вроде «сенокосец»... и волшебство разрушится, рассыплется осколками, которых уже не собрать.

С тех пор Ул всегда замирал на холме и смотрел на Полесье. Отсюда село было бы славно нарисовать. Только разве такое чудо поддается всякому? Ул только смотрел. Это-то и ему можно.

Сердце билось все чаще. Солнышко улыбалось. Ветер тронул волосы, погладил по щеке, советуя: беги! Ул оттолкнулся от пыльной дороги кончиками пальцев – и полетел, ощущая себя настоящим сенокосцем. Невесомым, не привязанным к земле. Даже короб не отягощал того, кто стремится к мечте. До волшебного дня, когда Ул увидел Полесье нарисованным на листе, оно оставалось селом. Но теперь оно сделалось картиной – и Ул каждый раз сходил с ума и жаждал чудес, вступая в пределы этой картины! Он скользил по волшебному узору и замечал, как много в нем деталей, не уместившихся в рисунок, как богат живой мир...

Ул замедлил шаг лишь у первых домов. Побрел, загребая пыль босыми ногами, блаженствуя от каждого нового зрелища, от всякого звука. Полесье – дальнее, необычайнейшее место, край известного мира... И сегодня Ул допущен сюда один, на правах взрослого. Можно солидно кивать встречным, трогать воротины с узорно выпиленными наверхьями. Щелкать ногтем по кованым петлям и рассматривать хоть каждый гвоздь! Двигаться все ближе к сердцу селения, бьющемуся шумом дел и праздности.

Конечно, сначала следовало исполнить поручение. Ул это понимал, ведь каждый шаг лишает его капельки ума и скоро – увы – безумие делается огромным, оно раздавит рассудок! Тогда Ул забудет, зачем сюда отправлен, а после, очнувшись, испытает сокрушительный стыд. Как можно не выполнить поручение... А как унять жажду чуда, если вон – лошади, заседланные. Ул таких видел два раза за всю жизнь. Может, эти из службы хозяина белого замка, давшего имя огромному городу Тосэну? А тот город лежит посреди иного, вовсе уж неведомого мира. Тосэн невесть где, а лошади тут, можно потрогать их копыта и приобщиться к странствиям. Эти копыта ступали по каменным улицам...

Ул скрипнул зубами и отвернулся. Никаких копыт, не время. Лавка с травами: вон она. Надо постучать и надеяться, что люди еще не обедают. В большом селе днем не все лавки

открыты. Это ж не Заводь, где рождаются, живут, торгуют и умирают на одном месте. Только лодочники видят мир. И это еще одна причина совершенства Сото – человека, который плавал аж в Тосэн, а то и далее. Лодки Коно ходят и вниз по реке до самого приморского Корфа, и в рукава. У реки есть такое – рукава.

– Что тебе? – неприязненно буркнули у самого уха.

– Мама Ула сказала, что травы... – начал Ул, краснея от ужасно детских слов и от того, что его подловили за мечтаниями, неловко и некстати.

– Сегодня, может, ещё есть в них польза, – прервал тот же голос.

Дверь скрипнула, Ул провалился в полумрак лавки. Ему в руку сунули мешочек и мигом выпихнули назад, на улицу.

– Вот плата. Отнеси травы в дом с золотой птицей на узорной ограде. Скажи: от хэша Номо с поклоном. Скажи, что исполнено быстро, как и было велено. Дом с птицей, по улице слева, не ошибешься. Бегом!

За травы воздали деньгами, Ул отметил и не успел удивиться, и не стал считать. Он и указаний не разобрал толком. Тем более не подумал: так лавочник сберег ноги и время своего посыльного. Ул шагнул раз, ещё, и ещё... Запутался в указаниях, озираясь, затоптался на углу улицы – и увидел птицу! Вся золотая, хитро вставлена в круг. А вне круга сплошной прихотливый узор лакированного дерева. Узор создан рукой, способной к волшебству, как у того рисовальщика. Ул охнул и прикусил язык, сморгнул от боли и пошел быстрее. Казалось невозможным: он бывал в Полесье дважды, а то и трижды в год, если учесть осенние торжища. Как же он не приметил восхитительное место? Хотя тут и лавок нет. Все на соседней улице, травяная вон – возле угла, потому и видно птицу стало почти сразу.

Пальцы дотянулись до узорного дерева и робко проследили завиток, второй. Очень важно показалось коснуться птицы в круге.

– Убери руки! Будут тут всякие нищebroды пылью мазюкать, – пробасили сверху лениво, в общем-то без злости.

Ул запрокинул голову и увидел над собой огромного человека в ярком и безумно дорогом одеянии, с настоящим оружием на поясе, затканном цветным и серебряным. При взгляде вверх казалось, что человек загораживает всё небо. Такой важный, что его слова – не обида. Сам-то Ул уж точно неба не занимал, знал свое место.

– Впусти, – вдруг прошелестел тонкий голосок.

Сказано было из сада, из-за роскошной ограды. Ул ощутил, как голова идет кругом от огромных, непосильных событий, вдруг скопившихся вокруг серого паучка. Тем более, великан ухватил короб за лямки, хмыкнул: «Птенец тяжелее!»... и понес Ула, удерживая на вытянутой руке, без всякого усилия. Плохо помнилось, как улица оказалась отделена оградой, как мир обрел запах свежести и цветов. Тень деревьев занавесила небо, а Ул всё смотрел вверх, на великана, несущего его в неведомое. Огромная рука разжалась – и Ул рухнул в траву.

– Зачем? – прогудел великан, глядя вниз и вперед, вовсе не на Ула. – Матушка ваша осерчает.

– У него пальцы тонкие, как мои, – отозвался тот же голосок.

Ул оторвал взгляд от великана. Хотя это было трудно, тот так и приклеивал внимание – яркий, восхитительный. Опустив голову и ощущая новое головокружение, Ул заметил хитро постриженные заросли зелени. Цветы – огромные, ничего подобного им не растет в лесу. Белая ткань с кружевом по краю: натянута, как крыша сарая, в два неравных ската... В тени полог установлена узорная кровать из сплошных невесомых деревянных завитков, выкрашенных яркими красками. Одеяла, подушки, кружева... Наконец, Ул рассмотрел и девочку, лежащую на груди подушек. У девочки было очень бледное лицо, темные волосы крупными кудрями, ленты... Покрывало почти до подбородка. Поверх видна одна рука. И пальцы не просто тонкие – они прозрачны.

Ул недоуменно поднял свою руку и усмехнулся: оказывается, если найти, с кем сравнить, он совсем не тощий. Только сейчас это больше, чем бросок палки – быть здоровым.

– Ты кто? – спросила девочка. – Я думала, только меня зовут тенью. Мама всегда говорит: от Лии одна тень осталась.

– Я Ул, принес травы. Сказали... сказали в дом с золотой птицей. Значит, сюда, – слова выговаривались сами собой.

– Мне, – улыбнулась девочка. – От них иногда становится лучше. Я даже хожу. Если свежие и сразу заварить, то мне радостно. Я прошу свежие, но этот, в лавке, шлет сушеные. У тебя свежие?

– Он заказал сухие, – поник Ул. Подумал и добавил: – Но травы не редкие! Могу сбегать до леса и поискать. Тут рядом.

– Правда рядом? – девочка посмотрела на великана. – Тыпустишь его опять? Скажи маме, тогда я, наверное, соглашусь обедать. Мне интересно, а бывают ли тени, которые быстро бегают и много едят?

Ул выскользнул из лямок короба, покосился на великана – тот кивнул и жестом велел торопиться. Куда делись улицы и как удалось пробежать через поле, не заметив, – все это Ул с удивлением подумал, уже падая на колени у опушки. В легких горело, перед глазами плыли искристые огни. Мир сделался зыбким и ненадежным, через него только что получилось проскользнуть, будто он занавесь в дверях: двигайся боком сквозь щель, и не потревожишь ткань...

Под рукой мялась и пахла мята. Ул стряхнул рубаху, сгреб мяту с корнями и сунул в ткань. Набрал ещё – место попало удачное, богатое. Запах вился в горячем воздухе и вёл, тянул вперед и влево. Там томился, потя едва заметными глазу бисеринками, чабер. Ул и его безжалостно, без разбору, смял в охапку с прочим разнотравьем. Сунул в рубаху, набив её травой плотно, щедро – и помчался в обратный путь. Теперь он видел дорогу, считал заборы и искал золотую птицу. И вмиг понял, до чего устал, лишь привалившись голым плечом к ограде.

– Уже? – в голосе великана гудело недоумение.

Перехватив тощее тело поперек, страж богатого дома внес запыхавшегося Ула в ворота, оттуда потащил через двор в деревянный добротный сарай.

Ул рухнул на лавку. Проследил, будто со стороны, как великан тычет пальцем в сложенные стопкой вещи, велит вымыться и переодеться. Как верить в происходящее? Как? Великан помогает, трёт чужаку спину и дерёт волосы расческой, ворча о прихотях больных, которые ум растеряли и невесть кого тянут в дом.

Наконец, Ул смог собрать себя воедино. Поверил: это происходит с ним, взаправду! Вот великан вцепился железными пальцами в плечо и потащил обратно через двор. Поклонился женщине, наблюдающей с крыльца. Ул задохнулся: вся в камнях и золоте, красивая.

– У него блох нет? – женщина жалобно поджала губы. – А вшей? Ты проверил? О нет, что я допускаю... эй, ты! Велю удавить, если Лия не станет кушать.

И Ула потащили дальше, в сад... Девочка теперь не лежала, а сидела. Ей подвинули стол. Перед ней уложили на огромный поднос вымытую до блеска траву, всю, что приволок в своей рубахе Ул.

Прозрачные пальцы перебирали стебельки, щупали, терли.

– Разная, – шепотом удивилась Лия и улыбнулась. – Я просила заварить всю и сразу, но мне твердили, что это сено. Ты умеешь выбрать?

– Высохнет, будет сено, – пообещал Ул. Быстро нашупал годные стебли, обобрал полезные к делу верхушки, отбросил отцветающие и попорченные сухостью листья. – Мята. Чабер. И можно еще брать такую травку, от жара и слабости. Ну, и эту – от всякого ущерба, синяки там, ссадины... разное. А в этой покой, с нее спится хорошо. Не надо всё вместе мешать. Соеди-

нять травы в сбор – это и есть труд травника. Мама умеет, я только пробую. Но я знаю разные сборы. Такой на ночь, а тут дневной. А прочее просто сено... кроме запаха нет в нем особенной пользы.

На подносе образовалось три горки трав. Ту, что Ул приготовил для дневной заварки, сразу забрал великан. Он пообещал, строго глянув на Лию, что скоро доставят обед и ушел.

Ул остался стоять у стола, не смея шевельнуться. Тишина висела плотнее тумана по осени...

– Сорви цветы, – попросила вдруг девочка. Показала: – Те, и вон те... ещё, ещё больше. Охажу. И те. И вон те. И те тоже! Неси сюда. Сядь, подвинь стул. Закрой глаза.

– Тебя все слушаются? – выговорил Ул, исполнив указания и глядя на свои руки, крепко зазеленённые, пахнущие цветочным соком. Потом он закрыл глаза.

– Не знаю. Вроде, никто... разве вот ты. Прочие слушаются матушку. Не подглядывай!

– Щекотно.

– Ты странный. Издали кажется, что у тебя руки тут тоньше моих. Но ты сильный. Только совсем тусклый.

– Меня дразнят серым паучком.

– Меня не дразнят, – смех Лии походил на кашель, тихий и совсем не веселый. – В глаза не смеют. Но я же знаю, всё знаю. Они ждут, когда я умру. Они служат матушке и им интересно, будет она плакать или нет. Она не будет. Нельзя, чтобы видели. Ты понимаешь? Ты давно такой худой?

– Всегда.

– Я сегодня хотела мяту и ты принес, свежую. Мне стало лучше, но я не так глупа, чтобы всё списать на мяту. Ты... заботливый. Если я попрошу ещё кое-что, ты принесешь? Не для денег матушки! Не потому, что она скажет: удавлю и всё такое.

– Принесу.

– Так и знала, – в голосе затеплилась улыбка. – Ну-ка, дайте зеркало.

– Ты всегда не одна?

– Думаешь, ужасно? Я привыкла. Они даже не подслушивают, им скучно. К этому можно привыкнуть. Если подумать, я на самом деле всегда одна.

– Лия, что за... – голос золотой женщины зазвенел гневом и сломался, как застрявший в полене нож. – Что ты делаешь?

– Можешь открыть глаза, – разрешила Лия, и, касаясь висков кончиками пальцев, повернула голову Ула. – Туда смотри.

Зеркала Ул видел несколько раз, одно было в доме у Коно, та еще диковина. Сейчас великан держал большое зеркало – такое Ул и выдумать не мог – совсем гладкое и ясное. В нем отражался летний день: весь, без искажений, мутности и струй. Посреди замечательного дня помещался сам Ул. Золотой от пылицы, напрочь закрывающей кожу лица. Рыжий от другой пылицы, густо нанесенной на брови. И волосы золотые! Как-никак, Лия извела на украшение «паучка» всю охажу набранных по ее просьбе цветов.

– Теперь ты не серый, – торжественно сообщила Лия.

Ул моргнул, потрогал засыпанную пылью щеку и улыбнулся. Над ним, как над цветником, жужжали пчелы. Две копошились в волосах, еще одна примерилась и села на нос, поползла, щекоча кожу, проверять, чем так вкусно покрашена бровь.

Дышать сделалось невозможно.

«Я теперь – рисунок. Волшебный!», – наполняясь жаром, осознал Ул. И еще подумал: ведь тот давний рисунок Полесья содержал целый мир, и всё равно он был меньше, чем настоящий мир...

Пчела жужжала и щекотала щеку. Мысли роились и жалили: как могло случиться такое – чтобы чудо вдруг обратили на тебя? Чтобы сам ты сделался – чудом... У Лии волшебные глаза. Такие теплые... И её прозрачные руки – они крылья. Они...

– Стоит признать, нам попался не худший ребенок, даже весьма кроткий, – поджав губы, сседила мама Лии. – Эй, ты! Изволь в таком виде обедать, ей нравится. Разрешаю сесть туда.

Женщина развернулась и удалилась, напоследок жестом перечеркнув ворох цветов, использованных для детской шалости. Ул по-прежнему заворожено смотрел на себя в зеркале. Никогда, за все осознанное бытие, он не был так нелепо и беспричинно счастлив. Впервые лето растопило лед серости, застывший проклятием вокруг младенца, брошенного в реку. Преданного, ничейного...

– Цветочный человек, – позвала Лия. – Сядь. Будем обедать, я обещала маме. Ты много ешь? Досыта?

– По разному, и никогда не становлюсь сыт, – пожаловался Ул, хотя это была тайна. – Такое дело, я съесть могу много, только оно проваливается впустую. Иногда и вкуса нет.

– Сегодня ты будешь сыт, цветочный человек, – пообещала Лия. – Не смотри так, я в тебя не играю, как в куклу. Я просто... сегодня живая. Это со мной случается редко. Не мешай, хорошо?

– Со мной такое вовсе – впервые. Говори желание, – напомнил Ул.

– После еды, – осторожно отодвинула срок Лия.

– Может, мне надо будет подумать.

– Хорошо, скажу. Хочу, чтобы в саду пела птица. Обычная, как в лесу. Понимаешь, весна кончилась, они больше не поют, а я... я боюсь, что уже...

Девочка замолчала и стала смотреть, как со стола убирают траву, как ставят на освободившееся место тарелки. Туман молчания выстудил лето... Лия заметила это и заговорила о саде и цветах. Но больше не упоминала ни словом свою мечту. Она толково, ровным тоном, рассказала о вилке и правилах еды, объяснила, что лекари из Тосэна велели ей кушать пророщенные зерна и орехи, хотя от одного их вида делается дурно. Что мясо еще противнее, тем более слабо прожаренное. А самый дорогой лекарь был ужасен! Он велел пить кровь, тёплую. Так Лия попала в Полесье, где можно без осложнений и кривотолков в любой день забить на заднем дворе скотину или нацедить кровь на бойне поблизости. От крови все время тошнило, Лия ослабла до того, что перестала вставать. Лишь тогда матушка, наконец, выдворила лекаря. Сейчас матушка увлечена поисками нового человека, готового врать ей задорого, что здоровье человек может купить – совсем как одежду или башмаки...

Тарелки наполнили. Ул старательно поддевал еду вилкой, как его научили. Получалось не очень, и он, украдкой озираясь на соглядатаев, стал брать с тарелки пальцами. Лия делала вид, что не замечает. Орехи и зерна оказались очень вкусными, от полусырого мяса тошнило, зато жидкий мед с незнакомыми добавками Ул выпил до капли. А после он сыто откинулся на спинку стула. Недоуменно свёл брови: он и правда сыт! Ему жарко. Хочется вздремнуть, на душе вроде и легко, но полёта нет. Сытые, оказывается, не летают – вес тяготит их.

– Ночь и ещё день, – сообщил Ул после долгого молчания. – Я сыт и плохо соображаю. Но так, да. Ночь и ещё день, скорее не выйдет. Доберусь в Заводь, после возьму лодку и уйду в камыши, а нужная пичуга днём не покажется. Затем ещё кое-что потребуется добыть, я так хочу, и оно верно, я чувю. После надо дотащить добычу обратно.

– Мама? – не поворачивая головы, спросила Лия.

– Она тоже слушает? – поразился Ул.

– Оставила бы я дитя невесть с кем, – презрительно фыркнули из-за плотного полога зелени. – Лия, ты не высказывала капризов с весны. Хорошо же, я велю заложить коляску. Эй, гадкий мальчишка! Не смей запросить лишнего. И чтобы к полудню был тут, иначе шкуру спущу.

– Мама! – Лия поникла. – Он же поверит. Что он будет думать обо мне?

– Его дело *ничего* о тебе не думать, его дело знать своё место, – строго и холодно отметила хозяйка богатого дома.

– Одно условие, – встрепенулся Ул. – Я чуть не забыл, а оно важное. Птицу я добуду, но её надо отпустить перед началом осени. Только так.

– Почему же? – возмутилась золотая женщина.

– Не знаю... но так – верно.

– Я поговорю с матушкой, это будет исполнено, – шепотом пообещала Лия.

Она побледнела и безропотно позволила уложить себя на подушки. Праздник иссяк вдруг, в единое мгновение. Ул поднялся, подобрал короб и заспешил прочь из сада, в душе ругая себя последними словами. Девочка с прозрачными пальцами полагала, что до осени не доживет. Её мама промолчала после слов: «Это будет исполнено»... Она тоже думала о худшем... Не стоило выставлять условия, невесть откуда вспрыгнувшие на язык. Будто из засады! Да Ул сам не ведал, с чего упирался. Но сказанное взять назад – не готов.

Ранним вечером Ул вернулся в Заводь так, как и не мечталось. Он восседал в роскошной белой с позолотой коляске, запряжённой парой крупных коней. Правил конями великан, блистательный и страшный: от одного его вида вся детвора попряталась. Коляска вкатилась во двор большого дома лодочника. Сото сам вышел, недоуменно осмотрел гостей и пригласил великана отужинать, здороваясь с ним, как со знакомым и ничуть не опасным человеком.

– Хэш Коно, – не смея быть невежливым при чужих, выговорил Ул. – Одолжите мне для дела бадью, птичью клетку и длинный нож.

– Поешь сперва, все работники уже сыты, тебе мало что осталось. После бери, что найдешь из запрошенного, глянь вон в сарае, – разрешил Сото и отвернулся.

Как будто для него привычное дело – невесть кому и без пояснений выдавать самые неожиданные вещи! Ул быстро проглотил ужин, перерыл сарай и умчался...

Еще до зари Ул явился во двор Коно с добычей. Мама, истомившись ждать дома, тоже пришла и тихонько стояла у ворот. Она с гордостью наблюдала, как сын грузит с помощью взрослых работников в коляску заполненную водой бадью и бережно ставит на сиденье птичью клетку. Ул за ночь весь измазался в тине, иле и травяной зелени. Пришлось наспех мыться прямо во дворе и заворачиваться в мешковину, чтобы поскорее обсохнуть. Наконец, садиться в коляску – на пол, не смея пачкать и мочить подушек... И вот коляска тронулась. Ул удалялся от Заводи и знал, что чуть погода в убогую лачугу травницы повалят гости, кто с поленом, кто с кринкой молока, кто с добротной тканью на полотенце. Еще бы! Серого паучка доставили из Полесья в золоченой карете и увезли обратно, как важного человека. При нем был вооруженный охранник. Немыслимое событие! Четыре года назад Ула и мечтать не могла, что от сплетен сама станет – отбиваться...

Ул уезжал, не радуясь своей случайной славе. Он был слишком занят мыслями. Даже лошади не возбуждали интереса.

Спину пробирала лихорадочная, крупная дрожь.

Ночью, завершив дела с ловлей подарка для Лии, Ул задремал, и тогда щеку погладил ветерок, в ухо шепнулось нечто лиственное, перед приоткрытыми со сна глазами краешком мелькнуло перламутровое видение – словно мотылёк оставил след пыльцы в тумане... Пойди поймай! Не проще, чем прибрать в ладонь падающую звезду: след есть, а звезды уже и нет. И дырки в небе, где место освободилось, не видать. Ул ночью потянулся к чуду – и в ладони ничего не осталось, только ощущение неосторожно разорванной паутины.

Лия лежала в саду, на той же кровати. Она казалась бледнее вчерашнего и кусала губы. Сердитая золотая женщина сменила платье на еще более яркое и навешала новые украшения на запястья, шею... Мать Лии соизволила лично вклеить «негоднику» подзатыльник и старательно протёрла руку платком.

– Я жалею, что поддалась на каприз. Ей хуже, – в голосе звенели льдинки. – Отдай, что принёс, и убирайся.

– Вам придется немного подождать, я быстро, – пообещал Ул. Низко поклонился и добавил, упрямо не замечая гнева хозяйки богатого дома. – У меня уговор с другим человеком, с вами уговора нет. Для вас я не стал бы искать птицу. Простите.

– Да ты не паучок, ты тварь ядовитая, – опасно тихо выговорила золотая женщина, глянула на дочь, поджала губы и удалилась за плотную зелень вьющихся стеблей.

Ул огляделся, выбрал место и полез на дерево, попросил подать клетку и сам подвесил. Великан, вот уж кто не был равнодушен – помог, хотя вряд ли хозяйка одобряла его поведение. Затем работники богатого дома приволокли бадью и установили под деревом, в тени. Ул ещё раз оглядел сделанное и остался доволен. Поднял раскрытую ладонь, посвистел. Птаха спорхнула из клетки, в которой ещё ночью были выломаны два прута.

Птаха села на жёрдочку указательного пальца, и Ул плавным движением опустил руку, продолжая посвистывать.

– Мы знакомы давно, с весны, – сказал он, рассматривая птаху при свете дня и заново радуясь, как всё складно получается. Будто он вправду поймал на ладонь перламутр из сна. – Это зорянка. Лия, я пересажу её к тебе. Она не клюётся.

– Она ручная? – Лия порозовела от прилива радости, глаза заблестели.

– Не особенно. В её гнездо лез дикий кот, я прогнал. С тех пор мы не виделись. Птенцы уже улетели, я думал, трудно будет найти её, но мне повезло. Я сказал, что прошу вернуть долг.

– Тебя понимают птицы?

– Нет... то есть не знаю. Не думал. Одна вот поняла. Она, пожалуй, согласна петь тебе. В саду ей будет хорошо. Только не чини клетку, не пробуй удержать зорянку силой. Я почти закончил, – Ул покосился на сердито шуршащие выюны зелёной загородки. – Лия, послушай внимательно. Даже... Закрой глаза, так правильно. Закрой и слушай. Так... ага... – Ул и сам зажмурился. Помолчал, выравнивая дыхание, и стал выговаривать слова в том ритме, что почувдился в ночном ветерке. – Каждый день, пока поёт птаха, станет годом... каждый день, пока цветёт кувшинка, станет радостью... я бы желал дать много... но черпать допустимо лишь то, что есть в колодце... прости, если дар нехорош... его теперь не вернуть, слова сказаны.

Ул пошатнулся, сполз в траву, недоуменно моргая: день погас, тьма пала, и с ней пришла тишина, беспросветная. Сил в паучьем теле не осталось, ощущения жизни тоже. Затем стеклянно зазвенел голосок зорянки – и обморочная, злая тьма стала оседать, как кудель сугроба, из которого солнышко скручивает нитку весенней капли. Свет прибывал, тепло трогало кожу, взламывая лёд усталости. Ул уже понимал, что стоит на четвереньках, часто дыша. Он опирался в траву напряжёнными пальцами, локти дрожали, ходуном ходили. Пот заливал лицо, волосы прилипли ко лбу.

Сердце, запёртое в клетке рёбер, – оно тоже птаха, ему на волю хочется, вот и бьётся, болит.

– Сладилось, – не веря себе, выдохнул Ул. – Ухожу. Простите, добрая хозяйка, я не желал вам перечить.

– Откуда бы найдёнышу из нищей деревеньки знать текст «Розы и соловья»? – теперь в голосе золотой женщины был чистый лед, студёный. – Чей ты подсыл?

– Какой такой розы? – без интереса спросил Ул, кое-как разгибаясь и начиная путь по саду, хотя от каждого шага его мотало, прикладывая ко всякому дереву. – Простите... уже иду. Ухожу.



– Читал сам, учил долго?

– Не умею читать. Простите, мне пора. Завтра сенокос, работы много, а я устал. Совсем устал.

– Сколько он запросил, Гоб?

– Сказал, так надо для Лии, более мы ничего не оговаривали, хотя я прямо спросил об оплате, – отозвался великан, поддел Ула под живот и забросил себе на плечо. – Если позволите, я отвезу его обратно. Он взмок и не стоит на ногах. Его колотит так, что и меня малость трясёт. И он совсем холодный.

– Как же мне понимать то, что я слышала? – матушка Лии вышла из-за зелёного полога и встала, гордо вскинув голову и неловко теребя в пальцах платок. – Эй, гадкий мальчишка, я не поверила в представление. Не смей больше шнырять близ дома, не смей выставлять условий. Я видела много таких, прикидывались блаженными, волшебниками. Со мной это не пройдёт, в тебе нет и капли благородной крови белых нобов-лекарей. А была бы вся их сила, и она такого не исполнит, проверено. Не видать тебе золота.

Ул смотрел сквозь слипшиеся пряди волос, шурился. Он не мог поднять головы, словно щека прилипла к плечу великана Гоба. Женщина – теперь Ул понимал отчётливо – напоминала ему старого Коно, она даже «эй» выговаривала похоже, с вызовом. Она, как и лодочник, не умела переступить через гордость. И терять не умела. И просить – вот это особенно. Так что сейчас у хозяйки богатого дома свободы осталось куда меньше, чем у птицы, запертой в настоящую клетку. Женщина делала все, чего не желала делать, и отказывала себе в проявлении настоящих мыслей и чувств. Спасибо ей, хотя бы промолчала, давая Гобу право воспользоваться коляской.

Скоро Ул оказался уложен на подушки, и не смог сползти оттуда на пол. Было странно подумать, что недавно он сам шёл по саду, пусть и шатался, но ведь – шёл... Неужели несколько слов из ночного сна могли так измотать? Непосильно пошевелинуть пальцем. Только глаза улыбаются солнцу, не щурясь и не упуская сияния радости. Он по-прежнему цветочный человек. Лия раскрасила его так основательно и от души, что серость больше не сможет вернуться. Никогда.

Кони отстукивали копытами дробь, и она была – музыка этого замечательного дня. Впереди сенокос, время сводящих с ума запахов, изнурительной работы и той усталости, которая не тягостна, потому что она следует за честно исполненным делом. Мама будет с гордостью провожать сына всякое утро. Сото не даст поблажки, как взрослому. Может быть, однажды о «паучке» подумает Лия, самое сказочное и невероятное создание в мире! И тогда снова на коже появится неприметный чужакам оттенок цветочной пылицы... ей ведь не запрещали думать, так? Счастливое лето.

– Что со мной было? Чудо... – едва слышно шепнул Ул.

Он опасался спрашивать громче даже у себя самого, он боялся разрушить любопытством хрупкое чудо. И еще он боялся перемен... и жаждал их! Сейчас, вдруг, он осознал: без вопросов жизнь проста.

Горизонт стоит на месте, как приклеенный, если не задать себе первый вопрос.

Сам человек тоже от рождения надежно укреплен, как трава на корнях. Сезоны приходят и уходят, а трава цветет в дни радости и мокнет под дождями бед, чтобы снова пробиться из-под льда обстоятельств. Боль, невзгоды, праздники – все они не зависят от уверенного в своем покое человека, как погода не зависит от травы. Предрешенность деревенского быта сонная, по-своему удобная. Вытоптали траву? Выкосили? Так на то она и трава...

Признав за собой силу менять обстоятельства, приходится встать в рост. Задав первый вопрос, приходится сделать шаг. Решившись искать ответ, надо напрячь силы и толкать прочь горизонт... и обрывать по живому собственные корни.

Мороз дерёт по спине.

Дух вышибает сильнее, чем по весне – когда пришлось рухнуть из кроны старого дуба и лететь бесконечно, слушая хруст то ли веток, то ли ребер...

– Я тоже сделал чудо, – едва слышно выдохнул Ул, морщась и жмурясь, но не унимаясь. – Сделал его... Особенное. Не знаю, как. Не умею повторить. Но я – сделал?

«Я не забуду», – без слов пообещал себе Ул.

Даже если забыть проще.

Даже если спросить не у кого.

Даже если ответа и вовсе – нет...

Корни покоя оборваны. Первый шаг теперь неизбежен, и кто знает, что за тропа ляжет под ноги.

Ул приподнялся на подушках коляски. Глянул на крыши Сонной Заводи, уже заметные впереди, проследил блестящую гладь реки. Привычный мир казался особенно ярким. Он был родным, но вопрос, поселившийся в душе, вынудил смотреть на Заводь по-новому, видеть красоту золотого лета полнее.

Весь покой – трава... в сенокос она ляжет и высохнет.

Никакое иное лето не будет таким золотым и полным.

– Лия выживет, – одними губами пообещал себе Ул, отодвигая новый вопрос. – Навестит. Я ведь её цветочный человек. Я подожду. И тогда...

## Бес. Постоялый двор у леса

– Вы просили доставить, – у самого плеча встал посыльный, после одного удачного поручения возомнивший себя частью ближней свиты. Бумаги он подал почти небрежно.

– Просил? Я? – промурлыкал бес. – Ты забавен.

– Вы приказали, – гонец смутился, отступил на шаг и мгновенно припомнил, что бумаги ему велели положить на край стола и еще строго уточнили: не подходить к бесу со спины и не стоять рядом.

– Однажды я всего лишь подумал вслух: «А что может записывать тот старый опарыш ночи напролет?». Дословно так. Досадно, что я помню больше, чем исполнитель... – Рэкст вздохнул. – Разве я желал, чтобы некто умыкнул дневники у старика и выставил меня – мелочным вором?

– Нет, но...

– Значит, возжелал без мыла влезть в... свиту, – ласковости в голосе прибыло, как воды в весенний паводок. Того и гляди, плотина покоя прорвется, и тогда... Но бес лишь принял и уделил гонцу косой взгляд. – Так, что имеем? Негодный вор и боец из средненьких. Смерти страшишься, боли вдвойне. И меня – втройне. Что ещё? Исполнителен, мстителен, жаден и склонен возводить стены, огораживая своё... ворует у слабых. Выдохни, не пускай слюни. Для свиты ты не годен, слишком прост и неинтересен. А вот управлять имением или торговым делом – может статься. Счетоводу надлежит вникать в мелочи.

– Жизнь за вас...

– Не положишь, сбежишь до боя, знаю. Не зеленей. Сам рассуди: велика ли ценность у твоей жизни, чтобы её класть на весы? То-то же... пока что поезжай в Корф и собери отчет по торговле в княжестве Нэйво. Еще подробно изучи доходы города и рост порта. Да, в пути составляй всякий день лист относительно погоды и ветра, спрашивай о видах на урожай и о том, что было в окрестностях. Особенно меня занимают засухи и налеты саранчи. Если я не заскучаю, читая, ты в дальнейшем сможешь, пожалуй, считать и моё, и свое золото.

– Исполню...

– Мне решать, исполнишь ли, – оборвал бес.

Он отвернулся от гонца, быстро вскрыл непромокаемый чехол и углубился в чтение бумаг, добытых воровством.

*«... много раз встречал слова, но не точное их толкование. Что есть «царство»? Не ведаю, однако же это понятие не тождественно стране или даже миру. Оно определяет некий свод природных правил, подвластных бессмерти одного из видов.*

*Мы, люди, если и знали прежде, то ныне не помним, сколько всего видов у бессмерти. Я насчитал три, вникая в обрывки древних текстов.*

*Первое царство порождает бесов каменного толка, однажды я прочел их наименование – горглы. Они сильны в непостижимых людям деяниях, меняющих сам мир – русла рек, пики гор и впадины морей, засухи и штормы.*

*Второе царство родится с тем, что произрастает, будь то травинка или могучий дуб. Имя сей бессмерти мне неведомо.*

*Третье царство, к моему наблюдению, относится всем ведомый багряный Рэкст, сродни звериному. Иной раз, позволю себе признать столь странное, я, видевиший Рэкста близко, помню о нем не только со страхом, но с состраданием... Худо, пожалуй, зверю в городах. Я видел пустынного льва, диковиной привезенного из-за моря в подарок князю. Видел его желтые глаза, тусклые от неволи. Иногда мне снится тот лев и я, ничтожный, просы-*

*паюсь в поту и ощущаю горький вкус вины и боли, извечной вины и боли людской... мы отняли волю у мира, когда самонадеянно назвались его хозяевами.*

*Зачем люди воздвигли решетку первого зверинца? И отчего не унялись после, видя ошибку и чуя вину?*

*Книга без переплета, запись 317»*

– Книга без переплета, – бес вроде бы улыбнулся, быстро пролистывая страницы и уделяя каждой долю мгновения, так что они мелькали крыльями чайки и шуршали, вроде бы разговаривая... – Старый червь занятнее, чем я полагал.

Бес сложил листки и ещё раз бросил взгляд на тот, что оказался заглавным, прежде чем упаковать все в чехол.

*«Полагаю, я видел бессмерть первого царства. И суть сего создания нечеловечна настолько, что рядом с ним Рэкст кажется мне родней. Я ощутил на себе каменной тяжести взгляд того существа – горгла... Оно не ведает жалости, сострадания или же теплоты, создаваемой из биения трепетного сердца. Оно стремится упорядочить всё вокруг, и суть его – кристалл безупречный. Холодный, идеально заполированный, неизменный.*

*Верю, много мы могли бы узнать из книг городов. Верю, что созданы они именно сердцем людским. И больно мне сознавать, как велика наша утрата».*

Бес усмехнулся, прижмурился и бережно перевязал чехол с записями кожаным ремешком. Опустил на стол и откинулся в кресле. Чуть погодя Рэкст прикрыл глаза – и в зале стало тихо-тихо... Гонец дышать, и то старался беззвучно. Вдруг бес заснул? Потревожишь, и прощай, мелькнувшая надежда возвыситься, пробраться в свиту.

– Откуда бы ему знать, как были созданы книги городов, если сам я вспомнил это теперь, вдруг, глядя на его записи... – прошептал бес так тихо, что гонец не разобрал слов. Чуть громче Рэкст добавил: – В письменах играют блики истины, которая однажды может обрести настоящую силу менять и даже отменять... – бес покосился на внимательно слушающего, а вернее подслушивающего, гонца. – Отправляйся в Тосэн. Навести переписчика, покайся в воровстве и с поклоном верни записи. Скажи, я велел. Еще скажи, что прятать то, что он прячет, бесполезно. Он видел лист той книги, один лист, но целиковый. Иначе не смог бы наносить знаки так, что я чую их... не глядя. Скажи вежливо: пора вернуть ценность, это мой первый запрос. Пока он вправе выбрать, кому вернуть – мне, сладкоежкам князя или псам канцлера княжества Мийро. Время выбора пошло, и оно иссякнет довольно скоро.

– Исполню... то есть приложу усилия.

– Далее твой путь ляжет на юг. Относительно Корфа, – бес порылся в кошель. Он добыл монету, подержал золото в сведенных пальцах и отдал смятым, хранящим отпечаток подушечки большого пальца. – Даю тебе знак до конца осени. Под него получи доступ к отчетам по казне Нэйво. Хочу знать, сильно ли разожрался хряк, поставленный мною к корыту. С тобой поедет мой ближний. Назовешь ему вес украденного в чистом золоте. Он решит, что делать.

Бес щелкнул пальцами правой руки, затем раскрыл ладонь и указал на дверь. На пороге возник, не кланяясь, упомянутый только что «ближний» – тощий, как скелет, и желтый, как старый пергамент. Редкие седые волосы делали человека стариком. Кожа, натянутая так, что улыбку не вообразить, обманно молодила... Гонец сглотнул, отступил на полшага, жмурясь и невольно заслоняясь ладонью.

Бывшего белого лекаря, который похоронил семью и пришел к бесу, чтобы продать душу и научиться убивать, редко видели в городах. А если замечали, старались поскорее отвернуться, улизнуть в боковой переулок, закрыть шторку кареты... Тщетно: проклятия настигали всякого, без исключений.

– Говорят, в Корфе еще тлеет род белых, – задумчиво вымолвил бес. – Пора глянуть, что полнее: твоя тьма или их свет. Я трижды давал им выбор. Они не согласились служить и не покинули известного мне места. Глупость наказуема.

Гонец сглотнул сухим горлом, отступая еще на полшага. Бес усмехнулся: даже ничтожному и слабому, вороватому и жадному человечешке показалось страшным уничтожение рода тех, кто исконно оберегает и укрепляет жизнь. Что ж, слуге полезно понять сразу, что бес – безжалостен. И вполне бесчеловечен.

– Уже не мечтаешь о тёплом местечке в свите, – промурлыкал багряный Рэкст. – Верно. Ты мелюзга, а мне требуются крупные твари. Хищные, сильные и усердные. Вот как он. Прекрасный образец... Чёрный и меня проклинает по три раза на дню. Только зря. Я проклят задолго до вашего рождения.

Бес шевельнул пальцами, и между указательным и средним возник плотный прямоугольник, мелькнул, вспыхнув живым подвижным изображением белого дракона с алыми когтями.

– Однажды я неосторожно согласился оказать услугу и вытянул карту палача, – тихо сказал бес. – Можно ли пожелать худшего? Даже мне, бессмерти... особенно мне.

– Поэтому я всякий день желаю вам бесконечной жизни, – прошелестел бывший лекарь. И в его устах сказанное прозвучало проклятием.

– Но и ты на скорую смерть не рассчитывай, – в тон отозвался бес. Подался вперед и ласково добавил: – Если я палач, то ты – мой топор. Ты приводишь в исполнение самые мрачные приговоры. И делаешь это охотно.

Бес медленно обернулся к притихшему гонцу. Поманил его пальцем, предлагая нагнуться, шепнул тихо, доверительно.

– Сейчас ты думаешь: почему отправлен я, такой ничтожный и с таким важным делом? Да потому, что я не желаю укладывать под топор никого ценнее тебя. Надежд не быть проклятым у тебя, прямо скажем, немного. Но, если приспособишься и уцелеешь, я оценю. Больше молчи, а еще – сразу исполняй всё, что он велит. Не жалуйся, не высказывай идей. Вот, пожалуй, и весь способ выжить. Чёрный не терпит рядом людей. Так что будь всего лишь тенью. Поверь, даже ночным тварям требуется тень. Полное одиночество угнетает.

### Глава 3. Серебряная весна

*«В книгах городов было много такого, что не уложить в слова. Они давали нам особенный взгляд на мир и себя в нем. Взгляд птиц. Мир переставал быть плоским! Я видел лист книги и говорю по своему опыту.*

*Именно взгляд важен, а не само знание, хотя книгам приписывают в сказках и легендах способность открыть слова могущества и тайны сокровищ. О тайнах – вот это в точку! Взгляд... Он превращает мир в песчинку и наделяет смотрящего трепетом сомнения: сколько в великой реке бесконечности такого песка? Взгляд заставляет реальность слоиться, выделяя в привычном незримое, то, что относят не к мирам, а к царствам, пронизывающим всё бытие.*

*Что это такое – царства? Снова я готов признать с огорчением: не могу дать ответа должной точности. Но я видел лист книги городов! И верю с тех пор, царства реальны, миры множественны, чудеса открыты людям, пока люди открыты им.*

*Тот взгляд на лист из книги города переменил меня, перекроил. Я лишился покоя и обрел мучительное, неутолимое любопытство. Наш мир кажется обычным, пока люди ослеплены страхом и привычкой... Какой жестокий самообман! Наш мир – величайшее чудо.*

*Я держал в руках клинок, сразивший беса.*

*Я слышал биение золотого сердца, не способного предать.*

*Проводник с синими бездонными глазами носителя истины вывел меня из лабиринта пещер, не имея путеводной нити и светоча.*

*Почему же наш мир погрязает в обыденности, почему возможное обрастает мхом сомнений и становится седой стариной, а после – сказкой? Пожалуй, нам не хватает света. Особенного света, родственного моей мучительной жажде нового. Света, горящего в людях».*

*Ан Тэмон Зан, книга без переплета*

– Сколько раз объяснял тебе, чей здесь лес, – напомнил Сото, перебирая инструмент в коробе. – Мимо ушей. Тогда, в первый сенокос, следовало сообразить, до чего ты упрям. Брат сразу сказал: не плати паучку. Брат крепок умом, ещё у него нюх на беды. Ценный у меня брат. Глазастый. С управляющим богатейшего здешнего ноба на короткой ноге.

– Спасибо за инструмент. Вы бы хоть работой требовали с меня за одолжение, дядюшка Сото. Неловко. А что лес брал... Я таскал с разных мест. Кто спросит, скажу – всё топляк, речной дар.

– Кто ж станет спрашивать, дурья башка! Тем более выслушивать ответы... Не хозяйское дело: верить без прибыли, упускать без выгоды, – пробормотал Сото. – Сядь.

Наследник лодочного дела семьи Коно прошёл через сарай, выглянул на пустой двор, зачем-то втянул носом предрассветную туманную тишь и плотно прикрыл дверь. Пахло свежестью, молодой весной, клейкими почки. Но Сото чуял вместо скорого тепла – беду... Ул понимал настрой Сото в его повадке, в движениях.

Сото вернулся, в полумраке нащупал связку мешков и сел.

Месяц назад у разговора сложилось похожее начало, но тогда Ул кстати уронил топорик, обрубая опасное продолжение. Он ещё долго ползал, искал пропажу, громко причитал, чувствуя себя жалким... но не прекращая игру. Сейчас он не стал повторять трюк и обречённо вздохнул, принимая неизбежное. Подвинул второй тюк, тоже сел, хотя так стало понятно: он в темноте видит, почти как днём. Слепой в сумерках Сото долго молчал, в упор рассматривая Ула и не зная, в ту ли сторону глядит.

– Прямо в лоб, – нехотя буркнул Ул.

– Добавим и такую странность к прочим твоим, – на лбу Сото залегла складочка. – Я знаю тебя с первого дня в Заводи. Как раз семь лет... Люди пока что не желают ничего замечать, ведь старый Коно громко твердит: эй, он подрост!

– Ваш батюшка мудр. Я подрост, ему виднее, – насупился Ул.

– Ну да? То-то отец с прошлой весны глянуть в твою сторону остерегается. Но речь идёт о благополучии Улы. Травница спасла меня, когда я был малышом. И не смогла спасти своего сына. – Сото ссутулился и повесил голову. – Я трудно рос и много себе позволял, меня баловали. Затем не баловали, но я позволял себе ещё больше. Меня уж не переделать, такой есть. Люди смотрят на тебя, слушают отца и думают: Сото долго звался хворостиной, но выправился в медведя. Ул, может стать, похожей породы. Люди закрывают глаза... до поры. Но я хожу с открытыми. Ты поправился от неведомой болезни не стараниями Улы, ты стал здоров в один день перед тем сенокосом. Но по-прежнему не растёшь. Еще год, и в Заводи задумаются: сколько ж ему? Начнут присматриваться, следить.

– Да пусть у них глаза лопнут! Что во мне особенного? – понадеялся Ул.

– Ты один, без помощи, выстроил в зиму дом. Рыл мёрзлую землю. Нырлял в полыньи и поднимал со дна дубовые топляки для свай, я-то знаю. Ни разу не чихнул. Освоил резьбу, выделал наличники на зависть всему Полесью.

– И что? Мечта у меня: если не рисовать, так хоть резать по дереву. Вот и осилил.

– Всё плохо! – прорычал Сото, ударил кулаком по колену, скривился и сник. – Всё. Дети растут быстро, особенно когда им на вид лет четырнадцать. Но ты ни на полпальца не подрост и в ширину не раздался. Матушка твоя от радостей разгибается, но всё одно – седеет, по волосам видны семь прошедших лет. Давай спрошу прямо, раз ты взялся играть в деревенского дурака. Ты – человек?

– Я... – Ул сглотнул ком страха и переборол себя. – Конечно!

– Управляющий баронессы, матушки той самой Лии, у меня закупает рыбу и копчения, – Сото продолжил гнуть своё. – Я знаю историю с зорянкой и кувшинками. Спросить ещё раз?

– Сото, оно получилось само собой, понимаешь? Один раз. Я был в угаре и...

– Называется первая любовь, – совсем грустно отметил Сото. – От неё можно ждать многого, но вряд ли такого. Не кипи, выслушай. Год у тебя в запасе, не более. После вам с Улой так и так уходить, а то и сбегать тайком... Пока не утопили, не пожгли. У тебя нет ответа на мой вопрос? Его найдут без нас. Был бы ты больше... человек, знал бы, как черна зависть. Как могуча жадность. Ул, я не лучше прочих. Зачем позвал тебя и закрыл дверь? Затем, что мой сын не переживёт весну, я видел глаза Улы, когда она врала о надежде и пользе трав. Я держал на руках жену и ведаю, сколь от её здоровья осталось за зиму... невесомый огарочек, только-то. Выходит, мне хоронить обоих, её и младенца? Так проще третьим лечь, чем...

Сото согнулся, уткнулся лбом в колени. Боль крутила его, и он усердно перемогал. Ул и сам перемогал вопрос, вспоровший горло мясницким ножом. Ни вздохнуть, ни трепыхнуться. Прирезан ты этим вопросом, вот и все дела. Сам не решался выговорить его, день за днем отодвигая неизбежное. Не за себя боялся, за маму...

Три года, что прошли с памятного сенокоса, истрепали, рассыпали по ветру прозвище «серый паучок». Худоба не пропала, но сделалась жилистой, опасной на вид. Угловатой, хищной... Скулы выперли, глаза приоткрылись, в их разрезе наметилась раскосость, несвойственная чертам здешних жителей. Хуже того, стоило вспыхнуть гневу – и от взгляда Ула вздрагивали, будто кипятком ошпаренные. С прошлого лета слишком многие обожглись, стали опускать голову, издали замечая сына травницы.

А еще – волосы. Пыльца из сада Лии смылась в тот же день, но кончик каждого волоска и теперь золотистый. Стоит обрадоваться, полустёртый цвет проявляется. Пришлось обрезать волосы под корень и носить плетёную шляпу, а в тусклые дни повязку, благо, работы много и «чтоб пот не застил глаза» – пока звучит, как годная отговорка.

– Вот что я решил, – хрипло выдавил Сото. – Поймай для моей семьи птицу, и я отвезу тебя в Тосэн. Дам денег, сведу с людьми. Там проживёшь без осложнений ещё года три. После начнёшь меняться или уйдёшь, будет видно. Тосэн крупный город, а тебе надо учиться. Кто бы ты ни был, останешься деревенщиной – долго не протянешь.

– Я учусь, – обиделся Ул. – И плотничаю, и бортничаю, и...

– Не помнишь ничего о себе, о рождении? – перебил Сото, не слушая отговорок. – Ищи ответ заново. Иначе... вдруг он готовый найдётся у той баронессы, матушки Лии? Её ответ будет прост, и вмиг сломает тебе жизнь.

– Я понимаю, – отбросив игру в дурачка, согласился Ул. – Но я хотел окрепнуть. Три года назад какой я был защитник маме? Вспомните, коса махала мною, всем на смех...

– Три года там, – Сото указал за спину и сердито встряхнулся. – Что сейчас скажешь? Прямо сейчас!

– Сам думал ловить птицу, – улыбнулся Ул, не понимая своей радости. – Не знал, как объяснить. Не ведаю наверняка, смогу ли. А справлюсь, уж всяко от сплетен жарко станет, вот что понимаю. Ну, я пошёл?

– С Улой поговорит отец, – с заметным облечением выдохнул Сото. – Дом, что ты срубил в зиму, выкупит он же. Не люблю брать людей за горло, прости.

– Все б так брали, – расхохотался Ул.

Рука потянулась, сразу же поправляя повязку. Без пользы, сейчас в тёмном сарае Сото не видел ничего, кроме перламутрового свечения кончиков волос, ведь Ул не мог сдерживать отчаянной радости. Он ощущал себя птицей, которую вот-вот подбросят добрые руки, чтобы помочь взлететь и увидеть мир с новой высоты.

– Ты сказал: «Людей за горло брать», – шире улыбнулся Ул, и в сарае совсем рассвело. – Приятно, хэш Коно. Ну, про людей.

– Ещё вот, – Сото сделался серьёзным. – Познакомлю с Монзом. Мне он случайный знакомый, выручил его в порту, только-то. Давно, лет пять тому... из него сыплется книжный ум, как зерно из худого мешка. Бормочет, бормочет. Сказал однажды, что есть или были прежде такие, кому не дан предел возраста. Что в старые времена они звались по-всякому: бессрочниками, беспредельниками, бессмертью... были и иные слова, поприятнее. Но усвой накрепко, Ул. Кое-кого из таких по делам их стали звать бесами. Да и беспредельники... от их имени словцо испоганилось. Не спеши искать родню, если не подрастёшь и через три года. От людей хорониться проще, чем от... бесов.

Ул поклонился, вежливо касаясь пальцами пола, и выпрямился, по-прежнему улыбаясь. В Заводи он наслушался взрослых и детских страшилок. Люди до замирания сердца боялись великого сома, медведя-оборотня а ещё черной птицы, что клевала свежую могилу и смерть из неё взяла, как зерно. Шёпотом пересказывали небылицы о коварстве водяных и похотливом баннике, попортившем больше девиц, чем сам Коно по молодости. Ночами вздрагивали от звуков диколесья и воя пурги.

Всё – пустое. Ул по много дней пропадал в самом сердце лесном, нырял до дна в омутищах и – было дело – пять ночей кряду упрямо охотился на зловердного банника. Как раз под весну о том слёзно упросила Ана, тоненькая робкая пряха, потерявшая от страха сон. Пожалуй, один банник и был обнаружен из огромного отряда нечисти, якобы осаждающей Заводь. Сперва нашлось горлышко кувшина, издающее мерзкий звук, а затем и мстительный недоумок, целый год сватавший Ану и получивший отказ у её родителей.

– Возьму нож. Вернусь, ещё и жирный творог уворую, – с порога пообещал Ул. – Нож для дела, а творог просто очень вкусный.

Не дожидаясь медвежьего ворчания о нахалах, какие хуже воров, Ул подпрыгнул, рывком добыл с высокого крюка любимый, но, увы, не свой, нож. Ул промчался через двор, с разбега



взлетел на запорную жердь ворот и перемахнул их, чтобы низко припасть к земле, разогнуться и спешить вниз по улице – к реке.

Зима состарилась не так давно.

Сонный покой льда, всё его широкое поле, такое, что дальний берег едва виден – прочертила похожая на трещину сплошная полынья. Это случилось дней десять назад. Сразу проснулась тёмная вода, сделалась говорлива. Лед от суеты похудел, он отступал к берегам с каждым днём, а ночами отвоёвывал часть потерянного неполно, неуверенно.

Нынешнее утро было зиме – враг. Туман голодным зверем навалился на снег и грыз его, трепал нещадно, осаживая и без того куцые сугробики. Тут и там хрустел слабый ледок на лужицах вчерашней капли. Шуршала под башмаком трава, для взгляда Ула даже в ранних сумерках – отчаянно, по-весеннему зелёная. Пахло печным дымом, хлебом. На мостках возился старый Коно. Он без пользы, лишь в предвкушении весны, проверял причальные бревна и бормотал о коварстве сома, утянувшего в полынью совсем новый багор. На кой он – сому? Разве с водяным воевать... Ул виновато вжал голову в плечи: багор давно следовало вернуть.

Последний раз оттолкнувшись от мостков, Ул прыгнул на лёд и заскользил, скручиваясь всем телом и помогая себе выбрать нужное направление. Пришлось использовать нож, ускоряя поворот: в голову летела палка, метко брошенная Коно.

– Эй, не балуй! – сиплым шёпотом возмутился лодочник. – Сам не утопнешь, другие увидят да попробуют, их кто вытянет?

– Метко бросаете, ноб, – расхохотался Ул, уклоняясь от палки и продолжая скользить вдоль берега, почти по краю полыньи.

Конечно, Коно не имел титула ноба – человека знатного, служащего князю или же наследно имеющего привилегии голубой крови одаренных. Но простенькую лесть старый оценил, крикнул одобрительно. Он буркнул без прежней злобы: «Эй, берегись!»... и не бросил вторую палку: пошутил. Еще бы, он назван метким и значит, ничуть не дряхлым.

Лёд прогибался, пружинил. Гнал пузыри по течению и опасно похрустывал. Отделяясь от воды, лёд делался прозрачен, смыкаясь с ней – чернел. Ул скользил теперь особенно внимательно, не делая ни единого резкого движения.

Выбирал место, выверял шаг...

Рывок, полет над водой большой полыньи, касание вскользь об лед пальцами ног и рук, коленями, локтями – и спокойное скольжение. Лёд у малого острова всё толще, стремнина всё дальше.

Вот и берег. Здесь удобно взять ивняк для корзины. Заросли густы, за ними – поляна и вид на пологий дальний от деревни берег реки Тосы.

Толковое место, чтобы подзвать ледоломок и посвистеть с ними о важном. Сото сам по себе человек хороший. Его жена и того лучше: помогала маме Уле даже в худшие времена, не имея сил поддерживать в сытости свой дом. Не менее важно и то, что семья Коно – она вроде хребта для деревни. Подломится сила старшего сына, не одному старику Коно беду расхлёбывать. Мама Ула помнит времена, когда в Заводи хэшем звался второй отпрыск лодочника. Вроде, при нем и снег в зиму имел цену, такая осталась у людей жутковатая присказка...

– В большом городе научусь читать, – улыбнулся Ул, посвистывая и шурясь. Робко добавил: – И рисовать.

По кромке льда и жухлой травы, пробитой иглами упрямой зелени, прыгали три ледоломки. Из тумана летела четвертая, досадливо цокала: упустила рассказ, упустила.

Ул помолчал, наблюдая птах и собираясь с духом. Как не мёрзнут их паутинные лапки? Как хватает им мужества лететь впереди большого тепла, в студёную зиму, опасную голодом, даже смертью? Ул сноровисто резал скользкие прутья, вышелушивал из глазури льда, чистил от коры. Руки сами, привычно, сооружали клетку. Путь редкие – не удержат и голубя в арках

плетения. Ледоломки подбирались всё ближе, охотно приняв рассыпанное для них угощение – целый ком мотыля, уворованного из запасов Сото, пока безнадёжно честный хэш слепо глядел на собеседника, «взятого за горло».

– У Сото в саду сытно и спокойно, – пообещал Ул, слушая звонкий щебет. – Змей там нет, честно. С кошками разберусь, мы знакомы. Глупо говорить такое вслух, я понимаю. Вы не люди, да и я, вроде, не домик в наём сдаю. Но молча плести не получается. Иногда во мне просыпаются мамины привычки, я делаюсь болтлив. Особенно теперь. Не могу понять, страшно мне или интересно. Глупости, что я не человек. Надо ж сказать такое! Да, расту медленно. Может, я невысокий? Не лазал бы по чужим сараям, проверяя несушек прежде хозяйских детей и котов, не видел бы в темноте. А волосы... А что – волосы? Ничего особенного. Лия сказала, я цветочный человек. Лия слишком красивая, вот она – из сказки. Она так улыбается...

Ул осмотрел готовую клетку, поставил и откинулся на спину.

Вид с этого островка – готовая картина. Загляденье, чудо. И где только бродят синие нобы, мастера выводить узоры? Им бы сидеть тут да зарисовывать... Туман редет, не мешает взгляду, нацеленному в небо. Сонное утро кутает белые плечи в кружево облачков. Самые яркие звезды подмигивают рассвету. Цвет плывет, скручивается в небесные водовороты, переливается, играет.

Ул сокрушённо вздохнул и нахохлился, отвернувшись от востока. Эдак можно позволить себе додуматься невесть до чего. Признать, что и днём ты видишь некоторые звёзды, и вовсе не на дне колодца, как разрешают сказки.

– Я человек, и по-человечески прошу исправить ошибку, – обратился он к ледоломкам. Поклонился двум, уже выбравшим место на жёрдочке клетки. – Пожалуйста. Я скажу Сото, чтобы он не зажуливал мотыля, выделял вам. И сам брать у него мотыля не стану. Хотя о чем я, мне плыть в город. Как ещё мама примет новость?

От сказанного сделалось холодно. Ул обнял ладонями плечи, решительно вздохнул и встал в рост. Бережно поднял клетку. Птицы ничуть не встревожились! Ул, шагая мягко и удерживая клетку на вытянутых руках, взобрался по склону, миновал ивняк... и замер надолго.

Тихая Заводь отсюда выглядела вышивкой на полотне утра. Лишнее прятали тени, лучшее высвечивал первый румяный луч. Таковую Заводь запомнить – в радость. Дом, срубленный своими руками, тоже виден, он далеко, но крыша приметная, свежий тростник выделяет её.

– Самую малость жаль, – признал Ул.

Поднял клетку на голову, удобнее перехватил нож в левую руку и прыгнул на лёд. Миновать полыньи надо как можно скорее, покуда туман вовсе не ослаб. Коно прав, скольжение по краю чистой воды не опасно для того, в ком помимо сознания живёт безошибочное чутье. Ул вспыхнул улыбкой, дернул повязку на волосах, будто гася лихость, играющую в волосах искрами серебра... Да, ему сил и ловкости хватает с запасом. Но, рассмотрев новую игру, иные дети возьмутся её повторить! И тогда поводов к бегству из Заводи сразу станет много, даже слишком.

– Нож знатный, – сквозь зубы прошипел Ул, по колено уходя в воду, чтобы сразу вывернуться и снова бежать, опережая трещины. – Уворовать бы, но разве дело? Нельзя красть ножи, нельзя брать и дарёные. Я маме пообещал... жаль!

\*\*\*

– Что ты пообещал маме, чудовище? – сонно спросил старый Монз и снова провёл пальцами по готовым, вымоченным впрок розгам. – Сото необычайный человек, в нем редкая доброта и немалый ум. Я согласился выделить вам комнаты по его просьбе. Мог ли я подумать, чем обернётся одолжение? В деревне никак не способно уродиться столь испорченное созда-

ние. Даже для города ты, знаешь ли, слишком плох. Если бы твоя мама не была столь мила, если бы она хоть немного хуже готовила, если бы её мази не помогали от прострела...

– Но я ведь прав!

От сказанного, как обычно, не стало лучше. Наоборот. Монз встрепенулся, просыпаясь по-настоящему, остро глянул на розги и враз выбрал годную.

– Спускай штаны, чудовище. Ограничимся одной порцией воспитания, если ты повторишь внятно и без заикания, что же именно обещал. Начинай.

– Не брать чужого, – начал Ул, вжимая голову в плечи и слушая свист, становящийся острой болью. – Не врать. Не трепать языком. Не...

Розги он заготовил сам. Стоило ли удивляться, что они быстро ломались... Монз не удивился, хмыкнул своё обычное «чудовище» и велел натягивать штаны. Вредности в старом переписчике было меньше, чем в новорождённом цыплёнке. Как он умудрился прожить жизнь и не обозлиться, кочуя по дорогам, перебиваясь случайными заработками в долгие годы учёбы и отказываясь от выгодных заказов из соображений совести и смысла жизни теперь, в одинокой старости – всё это вопросы без ответов.

Месяц назад Сото исполнил весеннее обещание. Довез до Тосэна, провёл по лабиринту улиц. Постучал в низкую дверь, сообщив с сомнением: «Здесь, вроде». Заметил веревку колокольчика и дернул. Внутри дома зазвенело, зашаркало, закричало... Тогда и довелось впервые увидеть Монза.

Переписчик показался Улу червяком. Смуглый, морщинистый, нелепо укутанный от коленей и до бровей в платок козьего пуха. Свальявшийся струпьями платок перетянут вязаным же поясом немыслимой длины, обвивающим тело много раз... Монз был согнут вдвое, когда он высунул из тёмного логова голову. Он, кажется, еще больше согнулся, положив подбородок на сгиб локтя. Смотреть больно и неловко, – отметил тогда Ул, ёжась. Дрожащая рука переписчика выделась вывернутой, она едва удерживала медную ручку двери, заодно прилепившись к ней, будто без опоры червяку-человеку не устоять.

Монз снизу-сбоку глянул на Сото, улыбнулся бледными губами и стал ждать. Безмолвно выслушал пояснения о переселенцах из Заводи, о насущной надобности найти им место и помочь обжиться в городе. Без интереса и проверки содержимого Монз принял мешочек с деньгами и сгинул в тёмном ходу за дверью.

Звякнула цепочка, намекая на право войти. Сото ободряюще подмигнул, хлопнул Ула по плечу и поклонился его матушке, шепнул, что всё сладится, – да и был таков...

Входить показалось жутковато, но выбора не осталось. Логово Монза внутри пахло сыростью и старой пылью пополам с плесенью. Узкий каменный всход поднимался мимо кладовки во второй ярус, выводил в довольно просторную гостевую залу, имеющую три арки коридоров – на кухню и в два жилых крыла. Сам Монз занимал крохотную комнатку, примыкающую к библиотеке. Незванным гостям он без единого слова отдал на выбор аж три комнаты, до того дня заселённые лишь пауками.

Мама Ула позже, завершив уборку, признала: сперва ей тоже показалось жутковато, прямо пыточные застенки, и ворох замученных до иссушения мух, мотыльков и стрекозок. На кухне пахло едко и мерзко, Ул сразу сообразил: таков запах у голода, переходящего в застарелую изжогу...

Монз заговорил с постояльцами лишь на третий день. На пятый он признал Улу по-настоящему и начал ей жаловаться. На седьмой – размотал ветхий платок и позволил мазать больную спину, тереть плечи и щупать синюшные, со вздутыми венами, ноги. На десятый день травница ругала Монза в голос, и он со вздохами кивал, признавая себя запущенным больным, слишком упрямым и мнительным.

Пока продвигалось небыстрое лечение, Ул успел облазать окрестные крыши, перезнакомился с котами и трубочистами, шалея от роскошных видов и возможности гулять над ночным городом, купаясь в свете луны и оставаясь для всех – невидимкой. В светлое время Ул исследовал порт, рыбный рынок, малый нижний рынок мяса и зелени, лавки торговцев, повадки стражи и дурные манеры городской детворы. Он даже успел обзавестись репутацией скользкого типа... Но тут Монз, наконец, разогнулся.

Временно избавленный от радикулита переписчик вмиг осознал степень свободы младшего из постояльцев и ту угрозу, какая таится в хитроватом прищуре мальчика. Монза не обмануло умение Ула прикидываться по необходимости то деревенским дурачком, то маминой радостью, то наивнейшим из всех младенцев...

С тех пор, уже двадцать дней, Ул подвергался воспитанию. От идеи побега его удерживало надёжнее, чем муху в паутине, желание снова и снова бывать в библиотеке.

Ул попался, едва увидел Монза за работой. Старому принесли для копирования роскошную книгу весом в самого мастера, а то и поболее. И – свершилось чудо. Монз преобразился. Он навис над страницей, паук-пауком. Тощая морщинистая лапка порхала, оставляя затейливый узор парадной вязи, обрамляющей заглавную буквицу. Цвет за цветом, красота делалась всё безупречнее. Зелень листвы, нежно-розовые соцветия, птаха на ветке. Наконец, последние три штриха – золотые лучи... «Соловей и роза», – заворожённо шепнул Ул, ещё не умея прочесть, но угадывая чудо. Так он – пропал...

Читать Ул научился в два дня. Почему знания словно сами лезли в голову, он не понимал, но скрывать от Монза ничего не пробовал. Вовсе не трудно запоминать буквы и складывать их заплетающимся языком, постепенно узнавая слова.

На третий день Ул впервые в жизни был излуплен розгами, поскольку слюнявил палец и небрежно листал книгу. Затем он получил по полной, без спросу переночевав в библиотеке. Объяснять, что для чтения ему не нужна свеча, показалось лишним. Отмалчиваться вышло... болезненно. И стыдно. Монз заслуживал уважения и, как выяснилось, умел этим пользоваться.

Вот и теперь, обнаружив на своём столике три флакона с дорожкой золотой краской, переписчик не выказал радости по поводу неожиданного подарка. Хотя сам вчера сетовал: в ближней лавке краска бессовестно разводится дешёвыми чернилами, выцветающими в несколько лет, а в дальней, при чиновной палате, на цены и глянуть страшно.

– Ведь украл, – вздохнул Монз, изучая излом розги. – И на какой такой крюк в тихой Заводи ловятся такие повадки да привычки?

– Я проследил, как в нижнюю лавку привозят краску, как разливают. Знаю теперь, откуда привозят. Там взял неразбавленную и заменил на разбавленную, какую вы вчера купили и признали негодной, – оправдался Ул. – Они воры, не я! Деньги ваши взяли и не стыда им ничуть. Вот.

– Никогда не учитывай чужой стыд таким методом. Своего не оберёшься, – сухо сообщил мастер, отворачиваясь и не особо усердно пряча улыбку. – Причина у тебя стоящая. Это уж как обыкновенно, это я понял в тебе. Ты без причины глупости не творишь. Но методы, знаешь ли, выворачивают благое начинание наизнанку. Стоило бы тебе понять это до того, как понимание придётся оплачивать большой болью. Покуда даю тебе наказание, настоящее. Пошёл вон из библиотеки и не появляйся три дня. Матушке Уле я сообщу, что ты на рыбалке.

– Я купил перо, вчера вы сказали, что можно учиться писать и обещали... – ужаснулся Ул, наблюдая, как паучьи пальцы мастера ломают то самое перо. – Ох...

– Воров не учу и дел с ними не имею! Правило окончательное, без исключений. Снова поймаю на таких методах исправления несправедливости, забуду навсегда, что обещал тебе. Забыл бы сей же день, но, – Монз потёр спину, – радикулит страшен. Да и матушка твоя, знаешь ли, не молода, как ещё примет позор сына? Смолчу на первый раз. Пошёл вон, чудовище.

– Простите меня, добрый ноб, – попробовал Ул и криво усмехнулся. Глядя в пол, он попытался сообразить, как примет старик униженные просьбы. Вдруг сильнее разозлится? – Хэш... то есть я не знаю, как вас правильно называть. Дядюшка, мне стыдно. Я виноват и понимаю. Но я так устроен, руки быстрее головы.

– Ты легко выговариваешь «простите», у слова нет веса. Вина ещё не давила тебя так, чтобы расплющить. Будешь прост и далее, раздавит, – огорчённо вымолвил Монз. – Иди. Вдруг голова научится быть проворнее рук... знать бы, к пользе ли? Подумай, желаю ли я стать соучастником воровства, каким ты сделал меня? Готова ли твоя мама узнать о сыне подобное? Подумай, по какой причине я дал вам кров, принимая от Сото деньги, которые не коплю... Мне жизнь уже не ценна, но есть еще и честь. Такое слово, тебе, может, плохо знакомо. Но ты запятнал мою честь! Хуже, вынудил молчать о случившемся, носить каменную тяжесть в душе. Что мне твоё фальшивое «простите»? Второй камень. Шагай отсюда, сейчас всякое извинение будет пустым. Ты не переболел им.

Пришлось кивнуть и развернуться на деревянных, негнущихся ногах. Кое-как ссыпаться по ступеням, снять цепочку и шмыгнуть на улицу, чтобы мама на кухне не разобрала шума. Прислониться спиной к двери – и вытереть пот.

– Чистоплюй.

Прошептав словцо, Ул вмиг вспомнил, что именно так второй сын Коно звал своего старшего брата Сото. День утратил яркость, внутри сделалось гадко. Камень, упомянутый переписчиком, оказывается, лежал на душе и немного давил, мешая дышать ровно... Ул для верности пощупал проступающие под кожей ребра, постучал ниже ключиц. Камень не пропал.

– Ну и пойду, – рассердился Ул, качнулся вперед и зашагал по середине узкой улочки, чувствуя странность в походке.

Голова тяжела, ноги слишком легки... Голову приходится вроде как нести, она клонит шею. Впереди простираются, как поле без натопанных троп, три дня вне дома. Куда их деть? На что потратить? За месяц в городе впервые выпало томительное безделье. Ноги топают под уклон, куда им проще. Ноги, как однажды сказал Монз, без приказа головы выбирают лёгкую дорожку. Что это означает, тогда не казалось важным.

Улочка слилась со второй такой же кривой и узкой, вильнула, огибая совсем старый дом, используемый под склад ткани. Побежала ровнее и шире, как речка, укрепшая подмогой ручейков. Впереди большим перекатом шумел порт. Пока ещё далеко, но слух справлялся, разбирал. Ул споткнулся, замер на миг – и припустился вниз уверенно, стремительно. В самодельном кошеле, сшитом из брошенных кем-то обрезков твёрдой, как подошва, кожи, звенели мелкие медяшки – пескарики. Их Ул не воровал, он вовсе никогда не делал подобного, что бы ни удумал переписчик – не брал чужого, если считал это ценным для владельца. Вот разве багор Коно... но зачем лодочнику багор в зиму? Одолжить честно никак бы не получилось. Невозможно признать вслух, что собираешься нырять в ледяной омут и тащить со дна, обрубая корни и отгребая ил, колоды такой тяжести, какую и ярмарочные силачи называют неподъёмной...

Нагнувшись на бегу, Ул мазнул пальцами по стыку булыжников мостовой и добыл ещё один медяк. Почему никто не подобрал раньше? Люди невнимательны. Нет, лучше думать иначе: горожане невнимательны, а то сразу вспоминается страшный вопрос Сото.

– Куплю разжарки и объежусь, – пообещал себе Ул, и, подбрасывая медяк на ладони, помчался быстрее.

В городе молодая весна не особенно радует. Ледок сошёл, освободил запахи и обнажил грязь. Зелёные вьюны на стенах ещё не закрыли обомшелой, лишаистой кладки неизвестного возраста и отвратительного вида. Хозяйки только-только начинают прихорашивать дома, выставляя на окна и балконы горшки с цветами, пока что показавшими первый лист, не более. Лавочки подновляют облупившиеся вывески, добавляя вонию воздуха, затхлому и без

того. Густеет толпа приезжих, чьи лошади метят булыжник душистыми кучами навоза. В порту разделяют рыбу прямо у воды. Месяц назад было холодно, запах не ощущался, а теперь в прокислом настое рыночного торга угадать свежесть улова с каждым днём сложнее... Каков город летом, в настоящую жару, Ул не желал думать. Мудрый Монз жил на очень маленькой улице, так хитро изогнутой, что в её завиток ловился свежий ветер. Уже облегчение.

Ул нагнулся за очередной монеткой, поддел ногтем – и полетел со всего размаха, перекашившись через чужую спину. Упал на руки, развернулся в движении и встал, сердито высматривая помеху.

– Ты чего под ноги подворачиваешься? Ты... Ох, прости.

У стены, вытянув ноги поперёк дороги и глядя в мостовую пустыми глазами, сидел парень лет шестнадцати или чуть старше. Худой, серый от пыли, накрытый ещё и тенью драного плаща. Рядом, у той же стены, лежал дряхлый конь. Ул сделал два шага, не понимая, голова или ноги приняли решение. Так или иначе, Ул оказался рядом с незнакомым парнем, у самой морды дряхлого коня. Ул присел и тронул провалившееся от старости надглазье, сгоняя муху. Конь был ещё немножко тёплым.

– Что, уступишь за полшуки медью? – прогнусавили рядом. – Поспеши, я даю цену, пока он годен скормить собакам.

Ул вздрогнул, очнулся. Искося глянул в полужнакомое лицо. Предлагающего медь человека он видел много раз, знал: состоит при страже, бегаёт за выпивкой и кормит собак.

– Бунга боевой конь... был, – парень у стены ожил и вскинулся на ноги, будто за шиворот поднятый. – Ты... всякая шваль... я...

Парень путался в плаще и совершенно себя не помнил, по глазам видно. Ул покосился на стражу. Уже дело, что эти далеко и пока не слышат, хотя вон их любимая рыбная забегаловка, в десяти шагах порог. Чуть больше шума, и бед не оберёшься.

– Он подумает, – пообещал Ул, украдкой двинув парня локтем в живот и плотнее укутав в плащ. – Вы видите же, добрый ноб, человеку дурно. Он благодарен и хорошо подумает. Простите, он не ждал такой сиятельной щедрости, славный ноб.

От удара в живот владелец павшего коня ослабел, откинулся к стене. Теперь стало гораздо удобнее зажимать его к каменной кладке, лишая маневра.

– Кто тут шваль? – побагровел гнусавый тугодум, сжимая медные монетки в кулаке.

– Я, – горестно вздохнул Ул, повторно вбивая ловкость в ребра владельца павшего коня. – Бежал и споткнулся, моя вина, простите. Вас не зашибло, когда я падал? Не испачкало? Позвольте глянуть, добрейший ноб. Мне так стыдно, простите. У меня всего две монеты, песчарики. Не побрезгуйте принять, вот. Хватит на чистку сапог. Простите.

– Шваль, – куда спокойнее выговорил «ноб», пару раз дернул Ула за волосы и покосился в сторону забегаловки, где разбавленное пиво на вынос обходилось аккурат в две медяшки. – Шваль и есть. У-у, кто вас в город пускает, нищebroдов.

Смачно сплюнув, «ноб» сцапал медяки и направился за выпивкой. Ул отвернулся и сильным умял, усадил к стене рычащего недоумка в плаще. Парень слепо, безотчетно рвался быть убитым... Даже смог, вопреки слабости, подсечь Ула и уронить рядом с собой. Разбитое колено отослало эхо боли аж в макушку, Ул зашипел, перевернулся и сел, растирая будущий синяк.

– Уф... ну ты и дурак. То есть я тоже, но я сознательно. Когда мне удобно, тогда я дурак. А ты... эй, слушай! Ты задолжал две монетки. Такая сегодня цена у твоей жизни. Недорого. А конь и правда боевой, за него мёртвого платят больше, чем за тебя живого.

– Убирайся.

– Эй, не рычи! – Ул прошупал свежую прореху на штанах и горестно вздохнул. Покосился на парня, принимая внезапное решение. – Не уберусь! Я сегодня виноват. Не перед тобой, но виноват. Значит, буду искупать. Значит, не оставляю тебя и всё объясню внятно. Слушай: что бы ни издохло в стенах Тосэна, будь то человек или кошка, до заката надо вывезти труп,

если без оплаты. С первого заката любая падаля начинает стоять всё дороже, и пока протухнет, сделается золотой. Убирать без оплаты никто не поможет. Ты слушаешь?

– Не отдам на корм псам, – едва слышно выговорил парень.

– У тебя есть знакомые в городе? Деньги есть? Эй, что вообще у тебя есть? – Ул пронаблюдал бестолковое качание поникшей головы, зашипел и стукнул кулаком по колену соседа. – Эй! Перестань дурить. Отвечай толком, совсем нет денег?

Допрашиваемый порывлся в складках плаща и протянул вперед ладонь, сам с некоторым недоумением изучил стертую серебряную монетку и два крупных медяка.

– Совсем нет, – сделал вывод Ул. – Ничего себе Монз умеет наказывать! Так, сиди тут и даже не дергайся. На весь день ты – моё наказание, приходится принять правду.

Ул помолчал, рассматривая «наказание». Парень рослый, костлявый, но вроде бы крепкий. Волосы темные, длинные, на затылке собраны в хвост, как часто делают нобы. Кисти рук имеют селянские мозоли, но ногти довольно аккуратные... А одежда такова, что нищие побрезгуют. Много пыли, цвет вылинял неизвестно когда, тонкие швы ловко прячут следы многих починок...

– Меня зовут Ул. Вернее, меня никак не зовут, но маму зовут Ула, а отца, который должен был бы дать сыну личное имя, у меня нет, ведь я урожденный утопленник, – начал трещать Ул, пока парень не скис окончательно. – Тебе интересно? Ах, значит, всё же слушал, раз теперь киваешь. Сиди тут. Договорились? Вернётся гундосый, делай вид, что умер. Не лезь ни во что. Понял? Я выпрошу на рыбном рынке тележку. Или ещё где выпрошу. Ты бы и сам мог, но ты не того сорта дурак, чтобы запросто перемалывать слова в муку. Небось, тебе трудно выговорить «простите». Значит, у тебя слово имеет вес. Значит, ты определённо моё наказание. Эй, я умею думать?

Расхохотавшись, Ул вскочил и умчался вниз по улице, спиной ощущая недоумение слушателя – большое и всё сильнее разбухающее, прямо как лужа в грозу.

Бежалось легко, думалось трудно. Неужто такой бестолковый дурак однажды станет старым и достойным уважения переписчиком, не умеющим помнить зла? А ты, ловкий куда более, оплошаешь? Нет... что за глупая мысль! С чего прицепилась? Муха, а не мысль. Навозная муха.

– Тётушка Ана, тётушка Ана, я наловлю серебряных угрей, – цепляясь обеими руками за угол дома, выдохнул Ул, налетев на нужного человека и едва не разминувшись с удачей.

– Чего надо? Прошлый раз обещал сома из сказки, – сощурилась дородная торговка, щелчком в лоб отодвигая оборванца. – Сом был так себе, басня, не больше. До сказки ему полтелеги не хватило, помнишь, да?

– Я лучший на всю Тихую Заводьловец серебряных угрей.

– Тут не вшивая деревенька, да? Что надо? Я пока слушаю, но стоять без дела из-за всяких там не собираюсь.

– Тележку, до вечера. Прошу, добрая тётушка, я к утру заполню её угрями, с горкой. Ну или...

– Враки из тебя лезут, как черви из навоза. С горкой... – торговка поджала губы. – Угря обещай летом, тогда, глядишь, поверю, а то и приплачу, да. Язь по весне куда надёжнее, ежели с горкой. Во-от, – торговка развела руки как можно шире и пошевелила пальцами, ещё увеличивая размер запрашиваемого. Подумала, чуть убавила аппетиты. – Вот такой самое малое. Уворуешь тележку, испозорю самого ноба Монза. Не добудешь язя, перешибу тебе ноги. Понял, да?

– Тётушка, он правда ноб? – шёпотом удивился Ул.

– Не знаю, а только осенью к нему из столицы приезжали, прям от канцлера, да! Вот ты какого человека тянешь в поручители. За-ради моей тележки, да-а-а...

Торговка приняла гордую позу, видя себя самое малое – княгиней. Красная рука ощупала кошель и добыла монету с дыркой, уронила на мостовую, вроде милостыни. Ул послушно подыграл, нагнулся и шумно возблагодарил, чтобы вся улица знала о доброте Аны и не услышала ни словечка лишнего про цену благодеяния, вымеряемую в язях. Теперь дело за малым: домчаться до рыбного рынка, показать меченую монету и поругаться с наёмными торговками, расстаться ещё с двумя медяками откупа, чтобы вместо малой тележки дали большую, на здоровенных колесах.

Исчерпав суету, Ул нахмурился, похолодел от мгновенного подозрения: он берется за непосильное дело... и стал упрямо толкать тяжёлую, неповоротливую тележку вверх по мостовой. Иногда голова Ула сама собой дергалась, отгоняя назойливую муху опасения. Как ухитриться и вывезти труп коня, почти что в одиночку? И куда? После не лучше, надо спешно добыть наживку, ведь без язя, пусть и не сказочно огромного, Ана к утру сделается наказанием похуже сегодняшнего парня-недотёпы!

Надёжно уперев перекладину тележки в стык булыжника и сунув в кошель три медяка, поднятые по дороге, Ул мрачно глянул на своё нынешнее наказание. Парень совершенно бестолковый... лепечет благодарности, губы дрожат, руки прыгают. Глаза красные. Он, выходит дело, сидел как велено, от себя лично расстарался лишь на оплакивание коня. Ничего иного не выдумал. Полезного.

– Сэн, это личное имя, – бестолково сообщил парень, кланяясь. Затем он наконец рассмотрел тележку и оторопело добавил: – А... а как же мы погрузим Бунгу? И как мы его... я его...

– Молча погрузим. Да, с первой попытки вряд ли получится, – признал Ул. – Так, поднимай ему голову, я наклоню тележку и – с разгону.

– Но...

– «Но» отдай собакам на обед, – оскалился Ул, примеряясь к кривым и шатким оглоблям, чуть сходящимся к мощной продольной ручке. Тележка была такова, что можно и толкать, и впрягаться. Ул зажмурился, прогоняя сомнения. – Эй, Сэн... Молить о чуде ты годен? Живо моли, чтоб телега не рассыпалась. У тётушки Аны рука такова, что стража опасается. Готов... сейчас... В Заводе у нас соседка была тоже Ана. Слушай, неужели та годам к сорока станет вроде этой? Вот страх-то, знал бы банник, не шалил бы.

Сэн, прикусив губу до крови, держал голову коня и, кажется, не слышал ни слова из пустого трёпа. Парня качало от слабости, помощник из него был никакой, сам не падал, уже дело. Толкнув телегу назад-вперед, чтобы понять её повадки, Ул сощурился особенно узко, сжал зубы – и уперся в полную силу, чиркая дощатой «челюстью» по камням и с ходу поддевая труп коня на плоскую дощатую плиту, где обычно умещали в рядок бочки с засоленной рыбой. Дно телеги проскрипело по мостовой, оглобли хрустнули – и на доски подделись плечи коня и часть туловища. Ул обреченно вздохнул, покосился на своё наказание. Сэн исправно молил невесть кого о чуде: губы беззвучно шептали...

Пойди пойми, отчего в парне злит решительно всё! Но проще добывать топляки в ледяной воде, чем на людях делать вид, что вы вдвоём справляетесь с невозможным.

– Повезло, – веско сообщили из-за спины.

– Щас хряпнется или погода навернётся, – прикинули левее.

– Пусть дохлятину под зад подденет, во пойдёт потеха, – понадеялись справа.

Город полон добрыми людьми, готовыми если не подставить плечо, то поддержать ближнего напутствием. Ул усмехнулся, ощущая прилив сил. Город велик, но до чего он схож с родной Заводью! Разве мнений больше и толпа гуще. Ул подлез под продольную ручку и попробовал потянуть её на себя всем весом.



Оглобли упрямо смотрели вверх. Они точно знали, что мертвый конь гораздо тяжелее Ула, даже очень злого и решительного. Ул рванул резко, морщась в ожидании предсказанного «хряпа». Но телега не сдавалась, не ломаясь и не меняя положения. Вокруг начали посмеиваться. Ул крутнулся, внимательно рассматривая улицу. Он твердо знал, что упрямство притягивает удачу, даже если до того оно же притянуло беду...

– Сэн, дай во-он тому серебряную монету, – скороговоркой велел Ул. – Быстро.

Рослый детина, много раз замеченный в порту на погрузке и разгрузке лодок, вмиг сунул полученную монету за щеку и косолапо побрёл прочь. Сэн сдавленно пискнул, не имея сил даже окрикнуть пройдоху и обозвать, хоть пристыдить... Пока Сэн боролся, то ли удерживая конскую голову, то ли наваливаясь без сил на тушу и кое-как удерживаясь на ногах, детина снова появился на улице.

Нанятый за стертое серебро грузчик шагал, раздвигая толпу. Нес на плече лопату, а на губах – улыбку, такую широкою, что видны и две щербинки передних зубов, и недостача правого коренного.

– Поберегись, зашибу, – загудел грузчик, разгребая люд.

Кому-то досталось черенком лопаты, кому-то совком, число отдавленных ног почти сравнялось с количеством зевак, но зрелище не приелось. Толпа роем навозных мух окружала поскрипывающую телегу, изучая, как трое топчутся и неловко, но упрямо, рывками, втягивают конскую тушу на доски.

Толпа не унялась и сопровождала похоронную процессию до городских ворот. Дальше побежали любопытствовать только портовые мальчишки, но скоро отстали и они.

К полудню боевой конь был захоронен на высоком месте чуть в стороне от дороги к мосту. Лишь трое знали о его могиле – те, кто копал яму и надрывался, снова перетаскивая костлявую тушу...

Завершив дело, грузчик отчистил лопату, постоял, повздыхал, наблюдая аккуратный холмик. Ул добыл из кошельки остатки меди и без сожаления отдал детине – на пиво. Тот благодарно кивнул. Почесал в затылке, поклонился щедрому нанимателю да и двинулся в порт, искать себе новое дело.

Сэн не заметил поклона. С тех пор, как работа завершилась, он неподвижно смотрел в пустоту щелями заплаканных глаз. Жалкий, потерянный... Ул отвернулся от неприглядного зрелища и принялся думать, трогая травинки, подобные одна другой и всё же не одинаковые.

День припекал макушку, птицы задорно трещали, обсуждая весну. Мотыльки и бабочки проверяли цветы или сами прикидывались таковыми, радуя взгляд. Хотелось улыбаться, везёт же некоторым: притворяются, а обмана в том нет, они ничуть не хуже цветов... Травинка под пальцами натянулась, лопнула. Ул вздрогнул и очнулся.

Снова глянул на случайного приятеля. Злость на парня пропала. После работы злость всегда унималась. Ул вообще полагал, что злые люди – бездельники. Вот хоть сыновья Коно: старший вкалывает от зари дотемна и добр, а младший не пахнет потом и в сенокос, зато всякий день скрипит зубами, аж издали слышно.

Сэн показал себя с хорошей стороны. Судя по имени и повадке, он был из нобского дома, но копал без усталости и не жаловался на слабость. Он был даже слишком серьезным и усердным. И он остался, яснее ясного, совсем один... вон как бережит рваную уздечку. Не нужна – а в ней память, последняя.

– Сэн, куда ты шёл? – Ул тронул приятеля за плечо, привлекая внимание. Слышишь, куда шел? И откуда, вот вопрос. Отправить такого недотепу без денег – дело дурное.

– Мой дом сгорел, – шепнул Сэн. – Никого не осталось, лишь старый Бунга. Я неплохой фехтовальщик, так говорил отец, когда приезжали соседи.

– Ой, ты точно ноб, – оживился Ул. – Прямо урождённый ноб. С ума сойти.

– Ноб... Глупое слово. Давно, когда что-то еще имело смысл, нобами звали тех, у кого голубая кровь, – через силу отозвался Сэн, наблюдая, как спутник проворно плетёт венки из травы и украшает им холмик. Помолчав, парень нашел силы продолжить разговор. – Голубая кровь, что вряд ли тебе ведомо, прежде была не пустым словом. Нобов отмечал не князь или канцлер. Мы – потомки особых семей. Нам достаются крохи их дара, исходного. Я знаю, когда говорят правду и когда лгут. Отец мог плавать в ледяной воде. Даже мне было боязно, он пропадал в полыньях, лёд успевал затянуться, до того долго он оставался внизу. Голубая кровь иногда помогает стать волшебником: лечить, знать лучшие места для колодцев. Только всё пустое, уже лет сто нобом зовут любого, оплатившего герб. На пепелище моего дома отстроится замок барона Лофо хэш Онагова, такова воля канцлера. Хэш богат, но пока его герб бесцветный. А оплатит кому следует – и станут его дети голубой кровью.

– Ты знаешь хоть кого в городе? Я задал простой вопрос, но жизненный. Мне и тебе нужен простой ответ. К ночи он будет важнее страданий по прошлому, уж прости. Когда холодает, зубы цыкают не от одиночества. Когда живот ворчит, затихает гордость. Быстро думай, мне ещё язей ловить, я сгоряча пообещал тетке Ане вернуть телегу полной. Хорошо, взял эту, без бортов... Хотя обмануть Ану и сам великий сом не решился бы.

– В пожаре уцелело письмо, папа однажды спас жизнь начальнику стражи Тосэна. Давно. На пепелище я перестал верить много во что. Теперь пал Бунга. Не хочу узнать, что ещё один человек... тоже пал. Отец хорошо отзывался о нем. Только это была не совсем правда. Увы, я всегда слышу. Даже когда врут во благо или из вежливости.

– Бегом! У меня дела, страдать некогда. Ты, уж прости, тяжкое наказание для меня. Во – мозоли. У меня! Знаешь, когда такое было в последний раз?

Сэн покачал головой, поднялся, из последних сил пряча слабость и кутаясь в драный плащ. Он бестолково похлопал по штанам, не удаляя грязь, и пришлось всё делать за него: чистить, подпирать плечом. Направлять к городу. Толкать телегу, тяжелеющую с каждым шагом под грузом усталости, накопленной с утра...

Когда солнце улеглось сытой рыжей кошкой на городскую стену, Сэн спустился по ступеням чиновной палаты и спокойно улыбнулся ожидающему его Улу. Глаза молодого ноба казались ночными, до того их омрачила смертная тень неверия в людей. Улу захотелось натворить такого... чтобы город вздрогнул! Ведь понятно, что парень, не желавший нести письмо, оказался прав. Друг его покойного отца – пал... и вдобавок протух.

– Сказал, сом серебром и молодой конь, вот чего не хватает моему письму для настоящего веса, – ровно выговорил Сэн. – Как мало стоит честь ноба, а?

– Ты выбрал дурного оценщика, – упёрся Ул. – Идём, познакомлю с толковым, и мы заново всё взвесим. Стража, тоже мне, высокий удел! Они трезвы от силы день в году и то странно, с чего бы? Друг отца оказал тебе услугу, голубая кровь. Избавил от тяжкой обузы служить уродам в связке с ещё худшими уродами. Давай, бегом. Нет времени, ворота скоро закроют, а в городе язя не уловить.

Идти домой и тащить едва способного переставлять ноги спутника оказалось ох как тяжело. Монз велел не появляться на пороге три дня! Три! Но – и одного хватило, чтобы многое обдумать и ужаснуться, и признать себя без шуток – чудовищем. Тени сомнений ложились гуще, камень на душе болезненно ворочался, мысли гнули повинную голову к мостовой.

Рука Ула едва осмелилась дотянуться и дернуть шнур звонка. Почти сразу зашаркали кожаные домашние туфли со стоптанной подошвой, их звук Ул знал без ошибки и выдохнул, избавляясь от главного страха. Открывать спускается Монз, мама не спешит к двери! Значит, ничего не заподозрила в отношении непутёвого сына.

Прислонив пошатывающегося Сэна к стене, Ул сосредоточенно осмотрел камни, зажмурился и встал на колени. За спиной настороженно притих молодой ноб.

– Что хотите думайте, но я прошу прощения и не могу ещё два дня таскаться с наказанием, – Ул уткнулся лбом в порог и махнул отведённой назад рукой на Сэна. – Ладно, я чудовище. Но вы простите на сей раз, очень надо. Я должен исправить то, что натворил, а Сэн голоден и ему следует вымыться. Вот.

– Тебе нельзя верить, воришка, – развеселился Монз, носком туфли небольно пиная повинную макушку.

– Он не лжёт, – шепнул Сэн. – Простите, умоляю. Если кто и виновен, то я.

– Ула, твой бестолковый сын приволок такой улов, даже для него особенный, – Монз возвысил голос. – Согрей воду, поставь ещё одну тарелку. Что есть из мазей? Поищи от ожогов. Дурак дурнее твоего сына кутается в плащ по самый нос. Знобит его. И спиной к стене не прислоняется, больно ему.

– Вы так умны, дядюшка, – сдерживая смех, похвалил Ул и звучно стукнул лбом в порог. – Простите. Простите, голова у меня дубовая, что поделать?

– Заткни деревенского дурака, чудовище, – велел Монз. – Он противен мне. Думаешь, ты используешь личины? Нет, ты линияешь под них, подстраиваешься, размениваясь невесть на что. Тащи горелого в свою комнату. Оставь матушке и бегом в библиотеку, буду слушать, что надумал за день. Может, хоть одна мысль в дурной голове народилась не гнилой.

Исполнив сказанное, Ул мигом домчался до заветной двери и просунул в неё голову, когда старый Монз только-только миновал порог. Захотелось визжать и плясать на руках. Вместо казнённого поутру пера в ученической чернильнице торчало новое. Рядом лежал желтоватый лист, расчерченный кончиком тупого книжного ножа под строки и наклон письма. Значит, отправляя прочь из дома, Монз уже простил?

Не переставая глядеть на восхитительное перо, Ул на одном дыхании выложил всё, что приключилось за день. Вдохнул, захлебнулся, кашлянул, снова вдохнул – и добавил совсем уж страшное.

– Я думал о золотой краске. Неразбавленную в городе берут от силы пять переписчиков, вы посылали меня узнать в палате цену трёх склянок. Выходит, когда подмену обнаружат, вам придётся худо. Я вор, чудовище и дурак, дядюшка. Я сунул под топор вашу шею.

– По поводу шеи ещё поглядим, но выгнать из города уж всяко постараются, – спокойно согласился Монз.

– Я верну склянки. Мне не трудно слазать туда ещё раз, после заката. Но я задолжал полную телегу язёй тетке Ане. К утру она зашумит. Беда...

– Тётку Ану я, пожалуй, успокою, – Монз поперхнулся и отвернулся к окну. – Да уж, дела. Ты запросто пробираешься в чиновную палату? Понятно, иначе бы не хлопал глазами столь невинно. Тогда сделай кое-что. Верни склянки, затем пройди до винтовой лестницы главной башни и поднимись под крышу. Там имеется малая дверь, она запечатана. Пожалуй, ты сумеешь увидеть, светится воск печати или нет. Если темный, поищи трещину, убедись, что печать сломана до тебя. Найди под бутоном в узорной ковке замочную скважину и используй этот ключ. Глянь в комнату и запомни, что увидишь. Запри замок и не раскроши печать, даже взломанную. Уговор: не переступать порог, даже носа не сунуть за черту, им обозначенную. Понял?

– Да.

– Что понял? – Монз сощурился, потянулся к новенькому перу и принялся его покачивать в чернильнице.

– Не буду лезть в смутные дела, тем более – не подумав. Я не вор, дядька! Но ведь разбавляют золото. Бессовестно.

– Книги теперь на отдельном учёте, переписчики тоже, – тихо молвил Монз. – Как я слышал, скоро грянет замена письменности. С букв перейдём на знаки. Минет одна жизнь человечья, и мои книги некому станет прочесть. Чтобы писать, надо будет вызубрить тысячи знаков. Плохо ли использовать их? Нет, просто нам такой способ чужд... Опасно иное. Некто

крадёт нашу память. Потому топор висит над шеей всякого переписчика. Потому новых книг не создают, а цена на переписывание старых непомерна, даже при разбавленном золоте. Потому запрещено упрощать узор заглавных букв для бедных заказчиков. – Монз помолчал и добавил иным тоном, деловитым. – Верни склянки и глянь в ту комнату. Не пересекай порога даже дыханием, смотри искоса, недолго. – Монз разобрал звон палочки по стеклу бокала. – Твоя мама удивительный человек. Подлечила того парня и не задержала ужин.

На кухне бледный Сэн, держась за спинки стульев и пошатываясь, норовил помочь подавать посуду. Одну тарелку он уже уронил, и выглядел окончательно несчастным. По первому слову хозяина дома Сэн сник в уголке, на указанном стуле. Штопанная домашняя рубаха Ула оказалась ему тесна. В широком вырезе, раскрытом почти до пупка, было заметно, что тело плотно перебинтовано: похоже, лечить бедолагу пришлось всерьёз. Гость был голоден, но воспитание мешало ему есть быстро и жадно, отчего тошнота, похоже, только усиливалась. Матушка Ула покровительственно поглядывала на нового человека, подкладывала ему лучшие куски и подливала травяной взвар.

– Сэн, – переписчик, завершив трапезу, смаковал любимый медовый настой и сопутствующую ему традиционно неспешную беседу. – По старому правилу такое имя допустимо лишь для нобов рода Донго. Было время, я набивался в друзья к весьма вспыльчивому Донго, я был назойлив до неприличия, ведь он хранил три книги, редчайшие. Меня едва не излупили при первом знакомстве, приняли лишь после уговоров и просьб. Но зато я смог прочесть перевод «Стратегий и тактик победы», ранний список отвратной сохранности со «Сказаний четвёртого царства» и даже «Огни праздничные и боевые», книгу совершенно уникальную.

– Их больше нет, – прошептал Сэн, и губы его жалко исказились. – Всё сгорело.

– До пожара навещал ли вас некий гость? Если да, полагаю, напрягши память, ты сможешь сообщить, что посещение было третьим по счёту и происходило через год после второго, – в тихом голосе Монза шелестела тревога. – Прошу, обдумай сказанное, даже если это больно. Я готов пояснить свой интерес, он не праздный. Меня дважды посещал гость из столицы. Если третий его визит предвещает пожар, следует заранее удалить книги в спокойное место. Хотя бы те, коими я не готов рисковать. Да: твой батюшка заказал мне списки с трех книг, что я назвал. И я храню их, это была его воля.

Сэн ошарашено глядел на переписчика, Ул тоже замер на пол-движении, занеся заварник над чашкой Монза и не наклонив его.

– Разве у тебя нет дел, чудовище? – любезным тоном напомнил Монз, под столом пребольно пнув носком туфли в голень. – Откати Ане тележку и передай, завтра сам зайду... Уточню, по какой цене проданы мне язи. Одно радует, ты не наловил их, значит, рыба не сгниёт. Тебе надлежит всё лето снабжать наш стол, ясно? Таков отныне твой долг. Еще сбегай в верхний город и уточни относительно склянок.

– Темнеет, – насторожилась Ула.

– Я тоже опасаюсь, что чудовище обидит стражу, – ядовитым шёпотом посетовал Монз. – В прошлый раз ему взбрело в голову оживить небылицу об утопленниках, кои охотятся на пристани за печенью пьяниц.

– Малыш, как ты мог, – всплеснула руками Ула и села, сражённая несвежей новостью. Она, конечно, знала самую сочную сплетню весны, но лишь теперь выяснила худшее о том ночном переполохе. – Тебя, вот радость, хотя бы не узнали.

– Матушка не вполне наивна, поскольку не усомнилась в своём милом чудовище, – рассмеялся Монз. – Твоя работа! Иначе ты не блестел бы глазами столь яростно и не косил бы на дверь отчаяннее зайца. Пожалуй, я рад новому жильцу и охотно выделяю ему комнату. Отныне резать розги станет Сэн, и ты поймёшь, до чего невыносима порядочность друзей. Иди.

Покидая кухню, Ул тихо радовался. Он и не надеялся отделаться легко! Толком не ругали, а Сэн и вовсе переживал, сочувствовал.

Переодевшись в тёмное, Ул откатил телегу, взбежал по улочкам до удобного места и взобрался на знакомую крышу. Закат остывал, туман понемногу чернил черепицу, приманивал ночь. На коньке соседней крыши гнули спины коты, боевыми воплями оповещая горожан о весне. Ул в два прыжка разогнал крикунов и зашагал по лунному блику на коньке крыши, высматривая издали башню чиновной палаты. Внизу и сзади, возле порта, шумела пьянь. Выше и левее, на богатых торговых улицах, усердно чеканила шаг стража, отрабатывая полученную с торговцев мзду. Два вора, выйдя на ранний промысел, шёпотом препирались: дома ли хозяйева, если в окнах темно, но за ставнями подозрительно шуршит. Ночные мотыльки льнули к камням, хранящим остатки тепла...

Люди отходили ко сну, мечтали, ругались, считали деньги, сплетничали, объяснялись в любви, делили нажитое, расставались. Ул слышал многих и скользил над городом, ощущая себя хозяином ночи и самым загадочным из её призраков. Он всегда успевал спрятаться от случайного взгляда. Он не позволял своей тени отразиться на мостовой или шествовать по светлой стене. Он – беззвучный, ловкий, уверенный... Усталость дня угасла с закатом. Слякоти тихонько тёрлись в платке. Загадочный ключ на шнурке жёг шею. Башня чиновной палаты приближалась, обретала своё настоящее величие.

Чтобы миновать Первую площадь, пришлось долго ждать годного мгновения, тут в любой час полно бессонных людей и пристальных взглядов. Ул не спешил, помня данное Монзу обещание. Зато, улучив момент, он вихрем пронёсся до угла палаты и, пользуясь набранным ходом, взлетел к слуховому окну в три прыжка.

Только дети способны протиснуться в узкую щель. Но детям не хватит сил, чтобы одолеть подъём по отвесной стене, где в кладке ни щербинки, ни малого выступа...

В тесном проеме слухового окна притаился колокольчик... Но Ул уже знал эту ловушку, задуманную против ловкачей. Захотелось улыбнуться: ай да я, молодец! Но Ул себя сдерживал и оставался сосредоточенным. Вот левая рука тронула и отпустила слишком удобный крюк, правая нога старательно уклонилась от касания с выбеленной штукатуркой, проверяемой слугами палаты всякое утро. Последний прыжок – и можно, пауком припав к полу, ощутить малейшую дрожь досок, прилечь, вслушаться...

На три пролета лестницы ниже, за главным приемным залом и ведущим к нему парадным коридором, охранники бранятся в своей комнате. Они каждодневно играют в кости и, хоть того не знают высокие нобы, изрядно пьяны всякую ночь.

Нет угроз... Можно двигаться? Ул не спешил. Он ещё подождет, собирая впечатления. Он дал себе отдых и время для рассуждений.

– Слишком много ловушек, если оберегают лишь золотую краску, – почти беззвучно удивился Ул.

На площадке перед слуховым окном было совершенно темно. Так же, как в прошлую ночь? Или чуть иначе? Ул нахмурился, сел, обнял колени и стал впитывать ночь. Чем дольше он каменел в неподвижности, тем опаснее казалась палата. Под потолками чудились незримые, но внятные нити, натянутые сторожевой сетью. В паркете слышались скрипы, лишённые весо-рых причин. На большие окна главного этажа блики луны ложились слишком уж тускло. Всё это вместе походило на приметы беды из детских страшных историй, вот только сейчас невнятное и неуловимое было – настоящим! Оно пахло злобой, такой древней, что в носу свербело, совсем как от книжной пыли.

– Я готов, – губы едва наметили улыбку.

Ул гибко встал, прищурился, мысленно рисуя свой предстоящий путь. Глубоко вдохнул – и канул в палату, как в темный речной омут... Ул гибко уклонялся от развешенных во тьме угроз, перепрыгивал их, подныривал. Вспомнилось: вчера он двигался так же! Он пригнулся,

прыгал... он вроде бы играл в благородного разбойника, а сам неосознанно миновал ловушки. Он просто не желал верить в реальность небыли, невидали, мрачной загадки! Но второй раз тайное показалось ближе, опаснее – и не рассмотреть его, не признать настоящим, сделалось невозможно.

Кладовую с красками оберегала одна тонкая нитка, пересекающая дверной косяк. Ул перешагнул её и поморщился: так мало внимания золоту! Значит, важно иное? Продолжая размышлять, Ул щепкой вскрыл шкафчик. Сокрушённо вздохнул: за день оказались изъяты для дела или продажи два флакона, еще один стоял в запасе, а после него сразу размещались подмененные склянки с тусклым золотом. Завтра их обнаружили бы. Так быстро! Вернув на место неразбавленную краску, Ул упрятал в платок дешёвку, которую сам же и купил для Монза не так давно. Смущенно почесал нос: прав переписчик, от воровской повадки только вред. И от слишком ловких постояльцев иной бы давно избавился... Но Монз человек редкостный, он наказывает, любя... От него наказание – в радость, оно ведь ещё и признание: ты не чужой дому, ты не гость или постоялец, ты – ученик!

Ул шире улыбнулся, упрятал склянки под куртку и покинул кладовую. Снова пришлось вернуться в главный зал, осмотреться и наметить путь к новой цели – к винтовой лестнице. Теперь прыгать и пригибаться Улу приходилось много чаще и гораздо резче. Расположенная в центре зала лестница плотно охранялась тьмою. Самый опытный ловкач, полагал Ул, не смог бы пройти тут, не имея особенного, тайного зрения.

– Ну и пусть я малость... бес, – шепнул Ул и хитро прищурился. – Учителю Монзу оно в пользу? Значит, всё хорошо!

Ступени будто шевелились, оплетенные подобием темной лианы. Тени непрестанно меняли положение, метались, словно созданные пламенем свечи, трепещущей на ветру. И правда: в лицо внятнее и внятнее задувал ветерок... Спину то драл холод, то палил жар. Ощущения чередовались так быстро и хаотично, что сводили с ума. Но Ул добрался до лестницы и стал упрямо взбираться вверх, танцуя на кончиках пальцев и уворачиваясь от опасных теней. Лестница делалась с каждым витком уже, тени – плотнее, ветер – злее. Спина чесалась, пот обильно смачивал рубаху, липнущую к спине...

Вот и коридор, узкий, как воровской лаз. Выше одна площадка, шест и штыри железных ступеней, ведущих в стеклянный фонарь крыши... А в темных недрах лаза притаилась захлопнутым капканом дверь. Перед ней пол – сплошь черный!

– Нет пути... – Ул выдохнул свое огорчение, скривился. Сгорбился на последнем безопасном пятачке пола. – Даже мне – нет!

Осталось лишь прикрыть глаза и положиться на везение. Ведь есть оно в мире! Любая сказочка о ловких ночных людях утверждает: им иной раз леший помогает или лучше того, древний и мудрый призрак какого-нибудь ноба, обиженного при жизни градоправителем. В историях попроще ловкачи сами находят решение, полагаясь не на призраков, а на смекалку и подсказки.

– *Цветочный человек*, – прошелестело то ли возле уха, то ли глубоко в памяти.

Ул вздрогнул, приподнялся на месте и едва спас голову от удара о низкий потолок! Голос Лии показался внятным, звонким. Он несколько изменился, звучал более взросло... Ул сжался в тугую пружину, вспыхнул ответной улыбкой – и кончики волос зазолотились. Тьма здесь повсюду, но свет – он в самом Уле, он всегда внутри, с того золотого лета, с того полудня, когда волшебная девочка с прозрачными пальцами смогла изменить для Ула весь мир... и его самого тоже изменила, зажгла, будто лампаду...

Свет от кончиков волос наполнился текучим, шелковым серебром. Яркости хватило, чтобы отвоевать у тьмы несколько бликов-пятачков. Не мешкая, Ул прыгнул вперед, одним движением тронул печать и нащупал на ней трещину. Приметил потайную скважину. Вдох!

Пальцы словно из воздуха добыли ключ, который плотно вставился в спрятанную под узором цветка личинку. Замок на диво легко и мягко щелкнул... Не иначе, его открывали часто и не забывали смазывать. Мельком отмечая это, Ул уже тянул на себя ключ, отворяя дверь. Петли едва слышно скрипнули, щель сделалась довольно широка... Ул бросил в комнату взгляд искося – и сразу щёлкнул замком, запирая и то, что заметилось, и то, что осталось загадкой.

Светлые блики на волосах таяли, теряли силу. Ул отступил к лестнице в последний миг, и сразу тьма коридора сделалась сплошной. Радость угасла, звук дорогого голоса иссяк, со дна души всплыла горечь – новая, незнакомая. Вспоминая голос Лии, Ул насторожился: уж не плакала ли? Точно, она не просто окликала, она звала... Может, ей худо? Душу цапнуло: а ведь так и не навестила... Он ждал. Он по осени был в Полесье и наведлся к дому с золотой птицей. Пустому, темному, нежилому... с того года неизменно было так. Он прямо спросил у Сото и узнал, что баронесса и ее дочь уехали к родне, на север. Далеко... И вроде бы насовсем. У богатых нобов много домов и имений.

– Не время вспоминать, соберись, – одернул себя Ул.

При взгляде из-под самого потолка зал казался темным садом, а витая лестница – стволом дерева. По стволу лозой с гроздьями и сторожевыми усами ползла настороженная тьма. Ул замер, вымеряя свою усталость, готовя тело к предстоящему. Выбрал миг, еще раз проверил опору под пальцами... И взвился в прыжке! Перемахнув перила, Ул стал падать, изгибаясь меж усов тьмы. Короткими касаниями ладоней или стоп о перила лестницы, о мраморные украшения, он замедлял и поправлял движение. Дух захватывало от восторга! Широко улыбаясь и снова сияя серебром волос, Ул спружинил на кончиках пальцев, сложился, припал к полу – без удара, даже без шороха. Рывок, помощь напружиненных ладоней, кувырок через витые тени – и можно колесом катиться по залу... Чем дальше от главной лестницы, тем меньше странностей. Домчавшись до безопасной стены, Ул всем телом впечатался в неё и замер, дав себе отдых.

Лихость так и кипела в крови. Хотелось не уходить сразу, изучить ночную палату. Ул вспомнил сказанное с укоризной Моном «чудовище!»... поколебался, но всё же не смог удержаться от малой шалости. Правда, пообещал себе заглянуть лишь в ближний из залов, где днем работает чиновный люд. Тут, в палате, переписчики так себе, любому далеко до Монза, как ночной бабочке – до луны... Чернильные людишки порой и грамоты не ведают в той мере, чтобы понимать каждое слово, повторяемое по образцу.

Ул приоткрыл дверь, скользнул в тесноту, образуемую шкафами и столиками. Глянул на один лист, на второй. Ничтожные в его понимании указы, кому-то титул, кому-то кус земли. Почерк так себе, узор заглавья убог. Но, вот досада и верх несправедливости: для подобных глупостей тратится наилучшее, неразбавленное золото. Идти дальше стало неинтересно. Ул еще раз осмотрелся. Уже отворачиваясь к двери, отметил ворох одинаковых листов на дальнем столике и высоченную стопку конвертов на полу. Ул подошёл и склонился к недоделанному чиновному письму, с вечера оставленному на подставке, в работе.

*«Сим подтверждается, что всякий голубокровый имеет неоспоримое право явиться до пятого дня месяца гроз к градоправителю, дабы подтвердить своё участие в весеннем балу нобов. А ежели не получено им нумерованное приглашение, то надлежит неустойку стребовать с нерадивых чинов, и быть ей не легче десяти сомов золотом. А ежели кто из городских стражей или же прочих людей князя и канцлера умолчит о приглашении, быть ему выпоротым прилюдно...»*

– Выпоротым, – широко улыбнулся Ул. Тихонько рассмеялся и добавил: – Десять сомов! Жаль, не дают ещё и коня.

Руки сами сложились в горсть, шупая увесистую плетенку с монетами, за форму и размер именуемую «сом». Более тощую и легкую принято звать шукой... Полновесного сома с монетами, даже и серебряными, Ул ни разу в жизни не видел, в руках не держал. Неужели...

До слухового оконца Ул домчался, едва помня себя. Там отдышался и унял спешку. Зажал язычок сторожевого колокольчика, гибко выполз наружу. Повис на пальцах, слушая ночь. Дождался годного мгновения, упал на мостовую. Чуть промахнулся с приземлением, едва не подвернул ногу, фыркнул раздраженно... и помчался, что есть духу! Яркая, громкая новость распирала легкие, норовя вырваться в крике! Ул изо всех сил зажимал в зубах тайну, полезную другу...

Так Ул и свалился из окна в комнату, скрипя зубами и мыча от возбуждения. Охнул, запоздало сообразив: теперь тут спит Сэн, а он болен...

– Кто тут? – На горле сомкнулся капкан пальцев «больного», сталь сабли зашипела, протираясь об ножны... и затихла. Сэн разжал руку и сник. – Ул? Ты?

Окончательно очнувшись, Сэн сморгнул и зажал ладонью рот, унимая крик боли. Благодарно кивнул, когда Ул помог лечь и укутал одеялом. При этом Сэн шурился в темноте, для него слишком густой, а Ул примечал: ноб видит лучше прочих людей! Иные бы сочли, что комната черна непроницаемо, но приятель разбирает тени и блики, и слабый свет кончиков волос Ула ему внятен... По волосам, пожалуй, и опознал? Или нобским своим чутьем понял, кто на него свалился?

– Десять сомов! – громко прошипел Ул. – Эй, ты что, не знал? А он не сказал. Выпороть! Выпороть падаль!

– А-ай... Эй, не прыгай по мне, больно. А-ай...

Ул рывком ухватил саблю, выдвинул из ножен на ширину ладони, восторженно изучая первый увиденный вблизи боевой клинок. Оставалось лишь гадать, как он днём упустил столь восхитительное открытие? Лезвие отразило блик спрятанной за крышами луны, оно лучилось покоем готовности... Пока рука настоящего хозяина не вlepила ловкачу подзатыльник и не задвинула клинок до щелчка.

В коридоре скрипнули половицы. Вдохнула дверь.

– Чудовище дома, – сообщил с порога Монз. Такими словами, по голосу понятно, он себя же успокоил. – Я не ложился. Хочу теперь же узнать то, что было тебе поручено.

– Весенний бал нобов! – громче зашептал Ул, не слушая переписчика. – Сэна не пригласили, ему причитается за обиду десять сомов золотом. Ха! Еще прилюдная порка тому, кто знал и промолчал. Начальнику стражи, да!

– Что за новость? – Монз споткнулся. – Приглашают, прямо всех?

– Голубую кровь, – Ул отдышался и пояснил совсем спокойно.

– Что же они желают приобрести за десять сомов? – насторожился переписчик. – Часто жизнь оценивают дешевле. Утром обдумаю, беда это или возможность. Сэн, отдыхай. Тебе на рассвете идти за розгами, помнишь? Мне уже теперь требуется штук пять. Я пока записываю впрок. Молчи, не смей просить прощения у чудовища, а ровно прощения для него – у меня. Ты куда мало знаком с его повадкой... Не ведаешь, до чего он опасен в своей бестолковой торопливости. Сам-то вывернется, а нас не вытащит. Лучше розги, чем похороны. Мертвые простят его, но как сам он себя простит, уморив друзей и родню?

– Дядюшка Монз всегда прав, – Ул изобразил уныние, стараясь не перебрать со вздохами. – Сэн, я сильно истоптал тебя? Прям по ожогам, да? Прости.

– Ничего, мне не больно, – соврал Сэн и осторожно, сберегая плечо и спину, отодвинулся к стенке.



В библиотеке Ул сразу вцепился в новенькое перо, добыл из стопки чистый лист бумаги и принялся чертить витую лестницу с незримыми лозами тьмы и сторожевыми усами-ловушками. Затем он потребовал второй лист, где изобразил нутро запечатанной комнаты, как оно почудилось, как поместилось в единственном коротком взгляде... Квадрат пола, паутина по углам, подставка посреди с книгой и чёрная, несуществующая дальняя стена, откуда к дверям тянутся многие нити. Они опасны, они – живые! Готовы схватить всякого замеченного и утянуть во мрак. Ул чертил, сопел, старался... надеялся, что Монз похвалит... скажет с удивлением что-то вроде: «У тебя дар к рисованию, чудовище».

Монз лишь молча следил за испачканной в чернилах рукой и морщился, когда перо царапало лист. Терпел и то, как Ул, слюнявя палец, исправляет кляксы, дорисовывает важное без помощи и помехи письменных принадлежностей.

Когда рассказ и рисунки были готовы, на бумаге осталось мало светлых мест, не заляпанных отпечатками пальцев Ула.

– То есть книга обычная, – еще раз уточнил Монз.

– Да. Я прочёл несколько слов. Там сказано о противоядиях и сильной траве с названием борец... так, кажется. Я глядел искоса, точнее не скажу.

– Книгу подменили, – пробормотал Монз, двинул листки ближе и рассмотрел их у самой свечки. – Целы ли иные, страшно подумать. Если нет, ко мне придут не через год, а раньше. Третий раз спросят... – Переписчик вздохнул, велел принести шерстяной платок и укутал спину. – Ты опасное чудовище, но весьма полезное. Мне следовало узнать нынешнюю новость, пока не поздно. Благодарю. Завтра начну составлять список людей, коим надлежит передать ценные книги из библиотеки.

– То есть плохи наши дела?

– Нет, если любишь странствовать, – кривовато усмехнулся Монз. – Прежде я ценил дорогу. Но старость... впрочем, на юге зима теплее. Отдыхай, честный воришка. Утром выуди хоть какую рыбину. Я не так богат, чтобы телегами покупать язя-невидимку.

– Но...

– К полудню вместе решим, стоит ли Сэну запрашивать десять сомов за обиду. И... не ёрзай. Может статься, у тебя есть дар рисовальщика. Только не зазнайся. В таком деле труд превыше всего. Бесконечный труд души и навык руки, привычка глаза, перо... Всё это, а не задатки и голубая кровь, – Монз быстрым движением погасил свечку, исключив новые вопросы.

Когда Ул приволок на кухню двух почищенных ещё у реки язей, вымылся и сменил рубаху, полдень оказался совсем близок. Гордость так и распирала, хотелось прыгать, хлопать себя по бокам и петушиться во всю. Рыба наилучшая. Новости в ночь добыты ценные. Сэн спасён! И...

– Совсем другие розги, сразу видно, выбирал добросовестный человек, – будто помоями облил тусклый голос переписчика.

– Дядька Монз! За что?

– Спал ли ты ночью, чудовище? Ложился ли? Сэн, иди сюда. В вашем роду частый дар старшего сына – слух чести. Сядь. Теперь пусть он отвечает.

– И зачем я приволок тебя в дом, – надулся Ул.

– Отвечай.

– Вы сказали, что книги пора отдавать. Когда еще читать их?

– Много ли ты прочёл до рассвета? – прищурился Монз, рассматривая изломанный за время вечернего рисования кончик пера.

Яснее ясного намёк: без свечи ничего не рассмотреть! Ул сердито покосился на красного от неловкости Сэна. На маму, прячущую по деревенской привычке руки под передник, бледную от переживаний. На торжествующего Монза.

Врать бесполезно. Говорить правду вовсе не годится.

– Вот от угла и дотуда, верхнюю полку, – Ул выдавил слово за словом, как под пыткой.

– Не знаю, как это возможно, но сказанное – правда, – удивился безнадёжный Сэн.

– Ты, что ли, научись хлопаться в обморок, когда полный зарез, – прошипел Ул. – Или тяжёлое себе на ногу урони и покричи, мама вмиг уведёт.

– Слушайте внимательно, благородный ноб, – расплылся в улыбке переписчик. – Кто иной даст тебе столь жизненные советы! Сидеть! Когда ещё получится поспрашивать. Ул, ты хоть раз в городе или ранее воровал деньги? У тебя всегда полный кошель меди.

– Я не вор, меди на мостовой полно, не знаю, отчего я один подбираю её.

– Правда, сам видел, он будто из ниоткуда выковыривает, – быстро откликнулся Сэн. – Больше я не скажу ничего! Нечестно учинять человеку допрос без вины.

– Человеку, – с издёвкой повторил Монз, остро глянул на Ула и вздохнул. – Я обдумал тот указ. Не отзываться глупо. Если ищут голубую кровь, так и так найдут, имеются способы. Заподозрив попытку укрыться от опознания, прибавят нам бед. Идите в чиновную палату, оба. Ул, изволь изобразить оруженосца. Достойному нобу полагается такой, чтобы его не затолкали в толпе и не лишили ненароком кошель, а равно не обременили вопросами, если он того не желает. Сэн, научи чудовище громко выкликать твоё полное имя... Пусть-ка горло дерёт до хрипоты, коли я не успел надрать ему место пониже спины. Ул, будешь в палате, купи один флакон неразбавленного золота и две склянки с синей краской, той, южной. Вот деньги.

Сэн вежливо поклонился и покинул комнату. Убежать с допроса без оглядки, как полагал Ул, бедняге нобу помешало воспитание. Но, оказавшись на улице, бездомный наследник рода Донго встрепенулся, поправил тесную рубаху и заинтересованно огляделся.

– Ты знаешь дорогу?

– Месяц в городе, как не знать.

– Ты, пожалуй, и в столице бы не потерялся, – уважительно вздохнул Сэн. — Последний раз я был в Тосэне пять лет назад, с отцом. Мы жили всё лето в особняке барона Омади. Вроде бы из-за обучения фехтованию его сына. Их хранимое оружие – двуручный меч. Мой отец знает... – Сэн вздрогнул и немного помолчал. – Он знал, наверное, все техники боя. А барон так располнел, что едва мог через живот сомкнуть ладони на рукояти меча. В общем, я жил в Тосэне и не помню города! Смотрел на чужие уроки или тёрся близ конюшен. Спроси меня, где особняк Омади, не отвечу и под пыткой.

Ул шёл чуть впереди и с вызовом поглядывал на всякого, посмеявшегося не убраться заблаговременно с пути ноба. То ли озорство грело кровь, то ли внезапно принятая без согласия роль оруженосца раззадоривала, но сегодня взгляд был горяч и опасен. Люди не просто отступали – отрывали и кланялись. Сэн умудрялся не замечать столь исключительного почтения к себе и болтал без умолку о бароне, его конях, его даре и гербе. Затем спохватился и толково изложил, что голубая кровь с древности и поныне сводится в единое генеалогическое древо, а вернее в рошу, поскольку семей много, линии переплетаются и расходятся, пополняются родней со стороны или же оскудевают наследниками.

Выделяют четыре главные ветви дара, и всякая имеет особенности в начертании герба и вероятных проявлениях. Птицы и цветы обязательны в гербах белой ветви, где много целителей. Мечи и стяги отражают особенности алой ветви, дающей наследникам способности, полезные в бою. Синяя ветвь с пером и лозой в гербах отмечает хранителей знаний и еще часто – неплохих канцлеров и градоправителей. Самая малочисленная и загадочная ветвь, золотая, имеет в гербах сердце и арку врат, отмечающие дар видеть незримое и порой творить волшебство.

– Сэн, твой герб алый?

– Да, хотя это не вполне верно, по маме – синий, и я больше похож на неё, даже внешне, так говорили все, кто её помнил. – Сэн поймал Ула за плечо и придержал. Пошёл рядом и шёпотом добавил: – О твоих родителях не взялся бы утверждать ничего. Мой побочный дар редкий, в нем капля золота. То есть я не способен к волшебству, но вижу в людях их кровь, как-то так. У тебя нет постоянного цвета, ты весь в текучем изменении, то ли настроение влияет, то ли время суток и сезон, неясно. Ночью ты ввалился в окно и был – яркое золото. Утром льстил дядюшке Монзу, как тусклейший наследник синей ветви, а теперь тычешь в людей копьём взгляда, полыхаешь аlostью. Ул, это более чем странно. Если бы в городе имелся некто вроде... – Сэн спрятался в тени закоулка, чтобы не шептаться посреди улицы, и наклонился к самому уху. – Вроде беса. Ул, он бы чувствовал тебя, как угрозу. Из-за тебя он бы мог затеять бал нобов. Вернее, из-за особой крови, сильной. Вот до чего я додумался. Ул, не надо таиться от меня. Ты знаешь свой герб?

– Единственная мама, которую я знаю, Ула, – слова произносились обманчиво ровно, хотя сердце колотилось у горла. – Она подобрала меня. Я сразу сказал, я был утопленник, мёртвый. Ничего не помню, кроме последних лет в деревне. Не хочу помнить! Те родители отдали меня реке. Будь они хоть какие славные нобы с гербом, прошлое мертво.

Сэн кивнул, показывая, что не сомневается в сказанном, прислонился плечом к стене и надолго замер, даже глаза прикрыл от сосредоточенности. Наконец, он встрепенулся, пальцы крепче вцепились в плечо.

– А вдруг прежние родители не бросали тебя? Если я прав и золотых сомов раздают из-за... беспокойства кое-кого, то и прежде *они*, – Сэн старательно избегал слова «бесы», – искали сильную кровь. Вряд ли с хорошими намерениями. Вдруг та семья сгорела, как... как и мой отец? – Сэн поморщился, но упрямо продолжил вспоминать и выговаривать: – Отца позвали в дом, сообщив о госте, тут Монз прав. Отец странно посмотрел на меня и приказал... Не попросил, а строго приказал, слышишь? Заседать Бунгу и шагом проехаться до развилки, чтобы узнать, годен ли старый конь для работы. Я уже оказался у перекрёстка, далеко, когда стал виден пожар... Отца не было нигде. К ночи нашли... то, что осталось. Тело совсем обгорело. Утром я проверил единственное строение, что было в стороне от огня, это погреб и крохотный сарайчик над ним. У дверей внутри лежали, заранее приготовленные, сабля, письмо и кошель с несколькими монетами. Для меня. – Сэн сглотнул и упрямо продолжил: – Он знал! Вот почему я ушёл до приезда новых хозяев земли. Отца убили... Я должен был выжить. И я обязан разобраться.

– Ты уверен, что я голубая кровь? – Ул проглотил шершавый ком, выдохнул.

– А кто ещё?

– Бес, – прямо глядя в лицо нового знакомого, Ул выговорил худшее из подозрений. – Может, Монз не зря зовёт меня чудовищем.

– Я видел беса Рэкста, совсем близко, – наклоняясь к уху, шепнул Сэн. – Восемь лет назад. Я гостил у дальней родни мамы, в столице, и ту встречу помню до мелочей. – Я видел его иначе, чем вижу тебя. Мир огибал его, сторонился. Не могу пояснить... нет, и всё! Тебе мало такого ответа?

– Они существуют, и они не родня мне, – поразился Ул. Он рассмеялся, подпрыгнул от радости. – Так, ага... теряем время. Пошли добывать золото. Что должен кричать оруженосец?

– Надень плащ и обязательно натяни капюшон, – вздохнул Сэн, нехотя отдавая вещь и ёжась. – Прохладно... что у тебя с волосами? Ночью было ещё заметнее. Странно и это. У алых вроде меня волосы могут вспыхивать светом в бою, но кратко и белым, а ты переливаешься ни с того ни с сего, и цвет то серебряный, то в золото отдает, то в бронзу.

Ул стряхнул куртку, набросил приятелю на спину. Сам укутался в плащ, пританцовывая. Хотелось орать на всю улицу: эй, люди, я не бес! Я тут родной, даже если отличаюсь от вас. Сэн наблюдал нелепое поведение приятеля, иногда качал головой, но терпел. Он шагал по улице, куда Ул его вытолкнул, прыжком взлетев на высокий фундамент углового дома. Оттуда Ул спустился длинным шагом, спружинил в полуприсед и побежал впереди ноба, пританцовывая и выкрикивая имя «хозяина».

Постепенно Сэн устал от ужимок и прыжков. После второй или третьей коновязи, по жерди которой петухом прошёлся Ул, молодой ноб безжалостно подсек его под колени и смахнул на камни. Вмиг оказался сверху, прижал, ловко скрутил руку – так мама Ула отжимала белье, наверное. Стало больно, нос сам собой уткнулся в булыжник. Голос злого до шипения Сэна велел не позорить честь ноба, пока его же свободная рука удерживала капюшон на горящих солнечной рыжиной волосах. Пришлось встать, отряхнуться и чинно испросить прощения на глазах у маленькой толпы, уже сбившейся и наблюдающей гнев ноба – молодого, но весьма решительного в управлении слугами.

Дальше до самой палаты шли молча, Ул глядел под ноги, но отказывал себе в праве собирать медяки. У парадной лестницы Сэн звонко приказал ждать. Глянул на башенные часы особняка градоправителя, фасадом выходящего на Первую площадь и сообщил, что вернётся через час, не ранее.

Улу как раз хватило времени, чтобы проскользнуть к начальнику стражи Тосэна и гадчайшим, подобострастно-ядовитым тоном, заимствованным у второго сына семьи Коно, сообщить, стоя на коленях и выказывая униженное почтение «нищेत्रода»:

– Целую ноги, сиятельный хранитель Тосэна, долгих лет и всё такое... Я состою при нобе Донго, да будет он здоров. Дельце вышло: запоматовали вы указать хэшу, что объявлен бал. Я покуда запоматовал указать в чиновную палату, что вы запоматовали. Вот... Такая беда, это ж на вас получается вина и на мне, умолчавшем, равная... Прямо указано: порка принародно, ежели умолчать, ага. Ну, мне оно привычно, а вам... простите великодушно. Уж я кинулся в ноги хозяину, вину, значит, заглаживал, чтобы и он не сообщал. Он человек чести, он и не думал. А только он *пеший* человек чести, – Ул выделил важное слово и перевёл дух, радуясь молчанию главы стражи, окаменевшего после упоминания порки. – Радея о хозяине я посмел, раз память у нас с вами плоха, ну, изложить на бумаге. Мы, видите, хлопочем нобу Донго коня от щедрот города. Погорел его дом, славному роду пришло ущемление... Я попросил переписчика, все буквы стоят верно. Тут бы еще подпись от человека, чья честь весома, вот как ваша, славнейший ноб.

Ул перевёл дух. От своего же гнусного многословия звенело в ушах и к горлу подступала тошнота. Начальник стражи не двигался и, кажется, не дышал. Тишина выступала на спине липким потом. Ул выждал, суетливо похлопал себя по рубахе, добыл из-за пазухи прошение, которое по буковке сам написал за ночь.

Медленно, старательно дрожа пальцами, Ул подвинул бумагу в сторону очень опасного человека.

– После бала как хозяину добираться домой? Ножки собьют.

– После бала, – разжал зубы и задавленно шепнул грозный страж. – Да... Двадцать дней, вполне довольно для прошения. Следует похлопотать, чтобы достойный ноб смог уехать из города. Он не намерен задерживаться здесь?

– Нет. Разве по нужде, они так убивались, что не годны в стражу, так убивались... желали на балу искать иную службу, сетуя на прежнюю неудачу.

– За день до бала пусть ноб Донго с этим знаком посетит городские конюшни, – быстро сказал тот, кто желал избежать порки и уже понимал, что это может оказаться сложно. – Ему надлежит подписать благодарность к поручителю в прошении и забрать коня. Со сбруей.

Ул поймал знак и стал громко, слёзно превозносить щедрость честнейшего человека, который не бросил в беде сына старого друга, протянул руку помощи. Приговаривая, Ул отползал, пока не уткнулся задом в дверь. Под напором она приоткрылась и позволила пятиться дальше, в коридор. Лишь там Ул разогнулся, поправил капюшон и помчался на площадь, избегая высоких прыжков и азартного визга. Знак жёг руку. Но, яснее ясного, следовало до поры молчать о ловком, но лишенном чести давлении на стража. Из-за воспаленной чести Сэн, конечно, не взял бы и медной монеты из грязных рук.

– Кто ж ему чистыми выведет коня? – возмутился Ул, устраиваясь у стены чиновной палаты, порой именуемой «приказ». – От чести сплошная морока! Ну, пусть меня выпорют, всё равно я прав! Куда ему без коня? Я прав. Да точно прав. Да...

К крыльцу прошли трое, впереди прихрамывал слуга, за ним шествовал пожилой мужчина и последним плелся юноша чуть старше Сэна. Слуга держал на поставленных плоско ладонях медный прут, с которого свешивался бархатный язык, когда-то синий, но застиранный и вылинявший до тускло-серого. Вышивка тоже пострадала, но ещё позволяла рассмотреть длинное перо, помещённое кончиком в виноградную гроздь и обвитое узором лозы.

Чуть погода носильщики доставили нарядный паланкин. На занавесях переливался шелком алый герб с коротким кинжалом на геральдическом щите, испещрённом звёздами. Ткань откинула морщинистая рука старухи. Почтенная ноба тоже спешила за приглашением себе или наследникам. Ул сел удобнее и стал ждать. Возле лопатки слева ныло всё сильнее, под капюшоном делалось душно. Чудилось: вот-вот прогрехочет издали и встанет у лестницы белая в золоте коляска. Великан Гоб откроет дверцу, опустит ступеньку... Лия махнёт прозрачной рукой с длинными пальцами, вмиг рассмотрев знакомого. Улыбнется – и настанет золотое лето...

Ул встряхнулся. Ему не велели даже думать о таком! Верный совет, увы: с памятного дня Лия ни разу не посетила Заводь, чтобы хоть издали улыбнуться своему «цветочному человеку». Сколько ей теперь? Она казалась совсем ребёнком, ей ещё, конечно, рано ездить на балы. Зря ноют уши, тщась уловить перестук копыт с одной из пяти сходящихся к площади улиц.

– Золотая птица, – задумался Ул, по-новому оценивая знак на ограде особняка Лии.

– О чем ты?

Оказывается, пустые мечтания оглушают надёжнее удара по голове. Ул вздрогнул, быстро обернулся. Сэн стоял совсем рядом, с заметным напряжением удерживал на весу пузатый холщовый мешок. Улыбался.

– Я думал уходить от вас, неловко быть нахлебником, – смущенно признал Сэн. Поколебался, но все же отпустил мешок, едва понял, что Улу держать не трудно. – Не хмурься. Знаю, иногда то, что я говорю, звучит по-дурному. Я бы сам обиделся, возмись гость вымерять деньгами мое гостеприимство. Только Монз не богат, да и вы с мамой... Спасибо за рубаху. Я такой ноб, что своей запасной нет. Я весь день думал, есть ли у тебя запасная, или я получаюсь хуже лесного разбойника. Ведь отнял последнее.

– Ты правда дурной, – рассмеялся Ул, и на душе стало легко. – Пошли, купим тебе рубаху. И даже мне купим. Ты ведь не уймешься.

– Не уймусь. Хорошо, что ты умнее меня. Папа как-то сказал, что мы, нобы Донго, нелепые. От рождения вроде перекаленной стали. Или вовсе не гнемся, или ломаемся. Еще он сказал, что следует положить все силы и усердно взростеть, чтобы не ломаться по пустякам и не ранить друзей. Я стараюсь. Но я куплю тебе две рубахи.

– Лучше купи маме набор приправ к рыбе, а Монзу большой платок из пуха каффской овцы. Мне рубахи не нужны, тем более новые. Когда заплатата хоть одна есть, не так обидно добавлять еще. На мне, мама сказала, вещи прям горят. Идем.

– Вроде, *они* не ощущаются, – Сэн поморщился, с сомнением рассмотрел улицы и не справился с выбором дороги, способной привести домой. – Но в палате беспокойно. Там... темно. Или тускло? Не могу описать.

– Бесы, – шепнул Ул. Отмахнулся, как от маловажного. – Эй, а есть ли такой герб: золотая птица?

Сэн задумался, глаза по сторонам и спотыкаясь. Пришлось взять его под локоть и вести, оберегая второй рукой прижатый к бедру мешок с золотом. Двигались небыстро, Ул шёпотом подсказывал дорогу и давал приметы на будущее. Пройдя половину пути и купив всем в доме по подарку, Сэн разговорился, добыл из памяти много разного о гербах с птицами, о пересечении белой ветви с золотой. Нехотя, морщась, упомянул постыдный для голубой крови способ сохранить привилегии. Мол, есть слух: подбирают слабой здоровьем наследнице или негодному к семейной жизни наследнику сговорчивую пару из деревни. Если дитя родится без дара, «пару» вышвыривают, заменяют. Как раз с белой и золотой ветвями был связан мерзкий случай, но подробностей вспомнить не получается, а вот сочетание слов – золотая птица – отец упоминал, но что имел в виду?

– Мне предложили выгодное дело, – гордо сообщил Сэн, отделившись от скользкой темы. – Одарённых слухом чести часто приглашают для подобного. Я буду посещать палату через день и слушать тех нобов, кто не может подтвердить происхождение бумагами. Мне выдали благодарность, два сома серебром сверх оговорённых десяти. Я ужасающе богат. Даже голова кружится.

– Сразу золото? До работы?

– После платят наёмникам, а нобов лишь благодарят за услугу, – поучительно сообщил Сэн и скривился. – Не одно и то же, нет! Меня можно громко, на площади перед палатой, одарить письмом от градоправителя, чтобы я одной бумагой и остался сыт. А тебя, безродного, только денежка приманит. Честь невыгодна. Но ты подставил плечо и помог мне, ты уважаешь Монза и твоя мама волшебный человек... Значит, денежная правда весит для тебя меньше, чем душевная... бессмысленная и обременительная. Однажды ты станешь глуп, как распоследний Донго. Я злился на отцовские правила чести лет до двенадцати, пока он не выгнал из дома одного человека. Полезного. – Сэн усмехнулся. – Падаль золочёную.

– Я и теперь довольно глуп, – охотно согласился Ул, подбирая очередного медного пес-карика. – Удобно быть глупым, прекрасно быть деревенщиной, замечательно оставаться недорослем. Все, кто видит меня слабым... они мне вроде как в долг дают без возврата.

– Монз тебя за это и ругает. Зря. Когда я полез в ссору из-за коня, кроме умной глупости дело решалось лишь большой кровью. Благодарю. – Сэн поправил на плече легкий, но объёмистый тюк с подарками. Глянул на спутника, очередной раз споткнулся. – Ул, а сколько тебе лет? На вид четырнадцать, пожалуй. По силе точно поболее. В тебе есть алость, вижу без ошибки. Если тебе уже четырнадцать, то бою с оружием ты обязан быть обучен. «Алый неизбежно обнимет рукоять в раннем возрасте, и лучше для чести, чем для слепого найма». Так сказал отец. Как его наследник, я намерен исполнить неписанный закон и учить тебя.

\*\*\*

У сабли Сэна определённо имелось имя. Оно звенело и лучилось, готовое угадаться, едва клинок показывался из ножен. Увы, при первом знакомстве с Улом, тогда, ночью, сабля мелькнула лишь на миг. После Сэн ни в какую не желал достать оружие даже из тряпичного верхнего чехла. Вместо этого начертил на бумаге, как надлежит вырезать подобие оружия из дубовой чурки, проставил размеры, со вкусом изложил на словах особенности нынешних сабель и оружия древности, гордо вскинулся: да, хранимое в роду Донго – уникально... И снова не пожелал притронуться к ножнам.

Выструганный в тот же день деревянный клинок получился простоват. Он повторял современную саблю городской стражи, а вовсе не чудо, хранимое в чехле.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.